

Олег Дмитриев



Реставратор  
Святой Руси

Олег Дмитриев

**Реставратор Святой Руси 2**

«Автор»

2026

**Дмитриев О.**

Реставратор Святой Руси 2 / О. Дмитриев — «Автор», 2026

Князь, в чьём теле живёт сознание реставратора из будущего, принят вольным Псковом. Но мир в этих землях и в этом времени — лишь короткая передышка между войнами. Чтобы удержать власть и сберечь тех, кто доверил ему свои судьбы, придётся разгадать древние тайны, расквитаться с прошлым, не нанеся вреда будущему, и вновь доказать, что слова родового девиза — не пустой звук. Честь стоит дорого. Или не имеет цены?

© Дмитриев О., 2026

© Автор, 2026

## Содержание

Глава 1. Обратный рывок	5
Глава 2. Над омутом	14
Глава 3. Что поможет в холода	22
Глава 4. Печорские красоты и краски	29
Глава 5. Земля и воля	37
Глава 6. Отмеченные тьмой	44
Конец ознакомительного фрагмента.	47

# Олег Дмитриев

## Реставратор Святой Руси 2

### Глава 1. Обратный рывок

Смерть пахнет иначе. Не так, как думают живые. Не дымом или серой, и не тленом — это приходит потом. Сразу после — запах медный, почти сладкий, как перезревшая брусника, и еле уловимый шлейф чего-то древесно-острого, пряно-неизбежного, непоправимого.

Тело Голована лежало на мёрзлой земле у стены подворья, и вокруг него уже успела натечь лужица, глянцево черневшая в свете факела. Осенняя ночь давила сверху всей своей сырой тяжестью. Где-то далеко горько и заунывно стонал сыч. Слишком близко к человеческому жилью, как подумалось Доману.

Я смотрел на мёртвого боярина. Точнее — мы смотрели. Княжьими глазами, но с наблюдательностью реставратора.

"Шея перерезана в два движения, разом. Убийца торопился. Он не был уверен, что никто не услышит и не помешает", — Дом думал спокойно, почти лениво, как мастер, разбирающий чужую работу. Я ощущал это спокойствие физически — как холодный камень под ладонью. "Наг оставил Голована без пригляда ненадолго. Этот, с ножами, был рядом. Всегда был рядом, ждал удачного момента. И дождался".

"Пергамент", — ответил я ему мысленно, не отрывая взгляда от клочка, извлечённого из уже начавших коченеть пальцев Голована. — "Посмотри на выделку. Это не псковская работа и не новгородская. Здесь мездра выскоблена иначе — тоньше и ровнее. Ганзейское производство. Висбю или Рига, вряд ли ближе".

"Ты уверен?"

"Я двадцать лет работал с пергаменами. Да, я абсолютно уверен".

Белый Волк присел на корточки движением лёгким, привычным и скупым, воинским. Он расправил послание, поднёс к огню факела. Буквы были ровные, без наклона, без лишнего нажима — писал человек, привыкший к латыни, для которого это был не чужой язык, а рабочий инструмент.

"Proditor manifestus est", — прочёл я снова, и слова легли в голове тяжело, как камни. Стоять над свежими трупами мне раньше не доводилось, и почему-то всё время хотелось снова и снова скосить глаза на то, что только что было живым человеком, со своими желаниями и тайнами. Множеством тайн, судя по всему. — "Предатель разоблачён. Это не угроза и не приговор. Это — уведомление. Нам говорят, что дело сделано".

— Аль, — произнёс Доман, и голос его звучал, как скрип снега под сапогом. — Следы.

Воевода, широкий, как дубовая бочка, с лицом, которое, казалось, было вырублено из того же дерева, подошёл совершенно беззвучно и смотрел за тем, как стоял на четвереньках в трёх шагах от тела, поводя факелом над землёй, Альгидрас. Он был одним из лучших следопытов в стае, и это знали все, включая его самого.

— Один человек. — сказал он наконец. — Лёгкий. Идёт быстро, но не бежит. Знает дорогу, знает, где дозоры.

— Далеко ушёл?

— В этом улье не сыщем и с собаками, княже. Через десяток шагов следы затопчут так, что и мне не различить.

Дом выпрямился. Я почувствовал, как в нём что-то переключается. Не страх или тревога, конечно, а скорее то состояние, которое я бы назвал повышенной боевой готовностью. Но для князя это было просто нормальным, обычным, привычным способом думать.

"Лёгкий. Молодой парень", — подумал он, и в этих словах не было вопроса.

"Или девка", — заметил я. И резко ощутил, как стало нам обоим холоднее от этой мысли.

"Или девка", — эхом отозвалось сознание князя.

Я замолчал. Потому что развивать эту догадку не хотелось совершенно. Но и просто так стоять над покойником, держа в руках послание от убийцы, было глупо.

"Ты думаешь на неё?".

"Я думаю на всех", — ответил Довмонт, и в этом ответе была та холодная честность, которая иногда пугала меня в нём больше, чем его ярость. — "И подозреваю тоже всех, кто рядом с нами не стоял. Любой — княжий, боярский, монах, торгаш — каждый в этом чёртовом муравейнике может быть убийцей. Как и в любом другом чёртовом муравейнике".

Я чувствовал, что он с огромным удовольствием сидел бы на брёвнышке у негромко шёлкавшего костра в лесу под Снятной горой. Говорил бы с князьями, посадниками, тысяцкими, настоятелями обителей, воинских или воровских, и кем угодно ещё, вместо того, чтобы всей шкурой чувствовать, что темень Ярославова Городища таит убийц. И думать о том, *каких* именно.

Аль поднялся, отряхнул колени. Посмотрел на князя — без слов, но вопрос был написан на его деревянном лице так ясно, что слова были бы лишними.

— Тело — с собой во Псков, — сказал Дом. — Тихо, без огласки. С великим князем попробую договориться. Никому — ни слова. Кондрат!

Воевода поднялся и сделал шаг или два. Смазанным в потёмках движением оказавшись рядом, чтобы Доману не пришлось повышать голоса.

— С Петром поговори, если выйдет. Это наш человек, и наше дело. Пусть уймёт своих ретивых. И глазастых, что на крышах сидят и в нас над стрелами смотрят.

— А вира? — едва слышно переспросил псковский медведь Белого Волка.

— У нас нет времени судиться, тем более здесь, в Новгороде. Пока вече сойдётся, пока проорутся все, Онуфрий трижды успеет Псков продать. Или сжечь. И нет веры в то, что виру заплатят нам, а не потребуют с нас. Не уследили за своим человеком на подворье великого князя, срам-то какой. Если не найдёшь слов для Петра — я найду. Поможет или нет — не знаю, но испробовать надо.

— Добро, — выдохнул Кондрат и пропал в темноте.

То, как один за другим теряли к нам интерес невидимые в ночи стрелки на крышах и галереях, я с удивлением чувствовал той самой воинской и волчьей настороженностью Доманова тела. Легче от этого не становилось, как ни странно. Не стало легче и после слов воеводы о том, что старший великокняжеской стражи согласился обойтись без огласки и за людей своих поручился. И когда увязанного в шкуры бывшего псковского боярина Наг и один из Кондратовых отнесли вместе со стражниками в холодную. И когда нас развели по комнаткам, постелив и оставив еды и питья. Потому что это ровным счётом ничего не значило. Ярославовы в любой миг могли ворваться в каждую из комнат, забросать стрелами, связать или зарубить. Ну, то есть попробовать. Поэтому сном то состояние, в каком мы с Доманом дождались очередных петушиных криков за стенами, назвать было трудно. Какая-то полудрёма в полузабытьи, когда каждый шорох заставлял водить ушами, не раскрывая глаз и не поднимая головы. И не выпускающая рукояти меча из ладони. Сухой и твёрдой, как и всегда.

Утром в Софию на службу ехали бок о бок с Ярославом, который тоже не выглядел выпавшимся от души.

— Говорят, беда у вас, Тимофей? — чуть слышно проговорил он, когда кони ступили на Великий мост. Время от времени улыбаясь и приветствуя открытой ладонью горожан, вопив-

ших ему здравицы. Стоя за линией, которую образовывали шагавшие слева и справа Петровы стражники. Сам старшина держался чуть дальше и левее за Демоном. На расстоянии, с которого точно мог бы дотянуться до псковского князя мечом, если понадобится. Глаза его, равнодушно-спокойные, скользили по мосту и городу за ним, замечая абсолютно всё, гораздо лучше, чем вышло бы у художника.

— Человека, что ехал со мной показать, кто за ливонское серебро на Русь врага наводит и своих промеж собой стравливает, зарезали, как свинью, под окнами великого князя. Не знаю, у меня ли беда? — спокойно и негромко ответил Дом. Отметив, как затвердело лицо Ярослава, как сильнее сошлись брови. Но это дело и впрямь касалось не только и не столько Пскова. — Глянь-ка, княже. Вдруг руку признаешь?

Плавным, предсказуемым движением, повернувшись сильнее к Петру, Дом вытянул из-за пазухи пергамент и передал ещё сильнее нахмурившемуся собеседнику. Тот глянул, развернув одной рукой, помогая себе, придерживая край лукой седла. Двигаясь чуть быстрее и резче, чем совершенно спокойный и уверенный в себе человек.

— Ромей? — спросил он, возвращая листок обратно.

— Или те, кто хочет, чтобы мы думали на ромеев, — ответил Дом, едва удержавшись от того, чтобы не поморщиться. Поняв, что великому князю не было никакого смысла выставляться глупцом, говоря очевидное. Как и в том, чтобы сразу раскрывать перед недавним знакомым свои мысли. — Я бы в первую очередь на ливонских церковников подумал.

— А во вторую? — быстро переспросил Ярослав.

— А во вторую — на тех, кто по их указке хочет Псков с Новгородом поссорить. Сделать так, чтобы мои побили Святославовых, а потом твои пришли нас наказать. И вот, когда из трёх дружин останется одна, битвами ослабленная — тогда и самим нагрязнуть, — проговорил Доман. — А в третью — на тех, кому ещё это выгодно.

— Выгодно... "Кому выгодно". Ты же не торговец, Тимофей. Чего ж всё выгодой мерить? — прищур великого князя жёг щеку. Мне. Доман и бровью не повёл.

— Служба у нас с тобой одинаковая, княже. И мысли, думаю, во многом сходятся. А выгода — лучшая мера, как ни крути. И самая честная выходит, хоть и дела ради неё творятся от чести далёкие.

— Верно говоришь... И мысли сходятся, точно. Сам что думаешь? — теперь тон великого князя был менее напряжённый и более деловой.

— Думаю, пообедать в другой раз придётся, как ни жаль приглашение твоё терять. Но, боюсь, кусок в горло не полезет, самый сладкий мёд поперёк встанет. Я в Нальшанах обоеруких бойцов знал десятка четыре. Из них тех, что с ножами так ловки — семнадцать человек. Из них четырнадцать сейчас меня дожидаются под Снятной горой. Очень я этого хочу, — провёл рукой по усам и бороде Доман, будто сгоняя со скул подступающую судорогу. — В твоих землях таких умельцев, думаю, побольше будет. И сколько из них по твоим дружинным домам сидят и твой хлеб едят — не знаю. Пакостное дело выходит.

— И опять верно сказал. Пакостное. Мало мне было псов-ливонцев да степняков скуластых, родичей до власти жадных... Ладно, за то, что пир пропустишь, не в обиде буду, — будто самого себя оборвав, сказал Ярослав. — О торговле и о том, как вестями обмениваться станем, в Софии условимся. Ты после службы обратно?

— Да. В Перыньском ските заводных заберём — и дальше. Ночами идти будем. Уходит время, княже. Не люблю догонять. Мне больше по сердцу самому в засидке сидеть и ждать, когда добыча близко сунется, — чуть улыбнулся Доман. А от меня не укрылся едва уловимый отблеск очень схожей ярости где-то в глубине глаз великого князя. Который только кивнул коротко в ответ.

— Заводных мои пришлют. За Ильинскими воротами будут дожидаться вас. Не трать времени, скачи во Псков.

— Благодарю. За коней расплачусь, — не удивившись, ответил Дом. Понимая, что "прочитали" мы с ним Ярослава правильно.

— Потом сочтёмся. Не раз и не два случай выпадет. И видеться, думаю, чаще станем. Мысли, говоришь, сходятся? Верно говоришь. А время, Тимофей, такое нынче, что иметь рядом... союзника, с которым в одну сторону думаешь, очень дорогого стоит, — отозвался Ярослав. И пауза перед словом "союзника" указывала на то, что вместо него вполне могло быть "другом". Но друзьями за один вечер становятся очень нечасто. Особенно великие князья.

Служба шла своим чередом. Нарядный и богато разодетый новгородский люд с интересом смотрел за тем, как молились Господу, стоя плечо к плечу, великий князь Ярослав Ярославич и псковский Тимофей Романович, новый человек, что на диво быстро оказался по правую руку от того, кого в самом ближайшем времени хотел призвать на княжение сам Господин Великий Новгород. Но об этом знали, конечно, не все.

Удивлялись люди и тому, как менялись за спинами князей Ярославовы ближники. Постоял и отошёл Власий, ключник великого князя, вышедший из собора, не дожидаясь окончания службы. Его сменили поочерёдно два сотника. Следом за ними подошёл важно, неспешно, сам Михаил Фёдорович, новгородский посадник, первый в городе человек. С ним князья стояли до самого завершения молебна, с ним и вышли на ступени Софийского собора. И перекрестились одновременно, подняв глаза ко кресту на центральном куполе храма, таком похожем на воинский шлем. А после, удивив горожан в очередной раз, Тимофей Романович поклонился тем, с кем стоял рядом, и быстрым воинским шагом направился к группе коней, где в сёдлах сидели четверо псковских во главе с воеводой Кондратом, которого многие в Новгороде знали, и двое светловолосых воинов, чем-то неуловимо похожих на нового князя. И вся семёрка сорвалась с места, едва взлетел в седло подошедший к ним странный гость. И умчала в сторону Людина конца, прочь из Новгорода.

Псков встретил нас туманом и колокольным звоном к заутрене. Город просыпался медленно, нехотя, как старый пёс, которого тревожат раньше срока. Над крышами тянулись в тёмное ещё небо дымные столбы, распадаясь на клубы и полосы, как перед близким ненастьем. Запах горячей ольхи мешался с запахом реки — тиной, рыбой, мокрым деревом.

Онуфрий ждал у ворот детинца. Это само по себе было плохим знаком. Тысяцкий не имел привычки вставать рано — или, по крайней мере, не имел привычки показывать, что встаёт рано. Он стоял в окружении двух своих людей, в дорогом корзне с бобровым подкладом, и лицо его выражало именно ту степень скорби, которая требуется от человека, узнавшего о гибели соседа, — не слишком много, не слишком мало. И, судя по лицу толстяка, сосед был нелюбимым. А смерть — не последней.

— Беда, — сказал он, когда князь спешился. — Голован добрый был боярин. Честный. Кто же это мог?

"Он знал", — сказал Дом мне. Не вопросительно — утвердительно.

"Может, просто донесли быстро?" — предположил я. Понимая, что быстрее нас из Новгорода могли примчать только голуби.

"Это одно и то же".

— Великого князя служилые люди дознаются, — сказал Доман вслух. Голосом ровным, как замёрзшая река. Только льда в тоне не было, ничего не было — ни тепла, ни холода. Одно лишь смертельное равнодушие.

Онуфрий сделал шаг ближе. Толстый, одышливый, с лицом, на котором годы оставили не морщины, а складки — как на старой коже, которую долго мяли. Глаза у него были светлые, почти прозрачные, и смотрели они всегда чуть мимо собеседника — не из трусости, а от привычки видеть больше, чем показывают. Заглядывать везде в поисках выгоды.

— Чужаки принесли в город кровь, — произнёс он тихо, почти ласково. — Не я говорю — люди так говорят. Псков — город спокойный, богобоязненный. А с тех пор, как новые люди пришли...

— Голован — псковский боярин, — перебил его Дом. — Не чужак.

— Так и я о том же. — Онуфрий развёл руками — жест широкий, почти театральный. — Убили-то его не псковские. Псковские своих не режут.

Пауза была короткой, но весомой. Я успел за эту паузу подумать о многом: о том, как профессионально Онуфрий строит фразу, как аккуратно вкладывает в неё яд — не каплями, а мельчайшей пылью, которую не видно, но которая оседает в лёгких. Политик. Хороший политик, а это гораздо хуже плохого, если такой стоит напротив тебя.

"Он намекает на Ингу?" — удивился и напрягся я.

"Он намекает на меня", — поправил Дом. — "Ингеборга — только повод, а чужак — это я. И я привёл чужаков. Кровь боярина — на мне".

"И что ты собираешься делать?"

"Ничего. Пока".

Это "пока" прозвучало у нас в голове с едва уловимой вибрацией до звона натянутой тетивы.

— Благодарю за заботу, тысяцкий, — сказал князь, и в голосе его не было ничего, кроме уместной вежливости. — Дождёмся, пока люди великого князя дознаются. И сами им в том поможем.

Он прошёл мимо Онуфрия, не оглядываясь. Я заметил, как тысяцкий смотрит ему в спину — долго, внимательно, с тем выражением, с которым охотник глядит на след зверя, ушедшего в чащу. Не с ненавистью, не со злобой или раздражением, а со спокойным азартом профессионала. Хорошего торговца и хорошего политика. Которые куда опаснее плохих.

Я понял это только к полудню, когда князь сидел в одной из землянок над кружкой остывшего взвара и смотрел в огонь. Я и сам начинал думать как политик. Не как художник, не как реставратор, не как человек, который привык иметь дело с мёртвыми красками и святыми ликами. Я думал о том, кому выгодна смерть Голована, кто мог знать о его связях, кто успел подослать человека на великокняжеское подворье. Да такого умелого, что и заказ выполнил, и послание оставил на ещё тёплом теле жертвы, и скрыться успел до того, как боярин перестал жить окончательно, раньше, чем мы нашли тело. Я выстраивал цепочки, проверял звенья, искал слабые места.

"Ты чувствуешь это?" — спросил я сам себя, и не сразу понял, кто именно спрашивает — Тимофей или Доман. И у кого. Это было неприятное открытие.

Я помнил себя — того себя, из двадцать первого века, — человека, который мог часами стоять перед иконой и думать о том, как мастер смешивал санкирь, в каких пропорциях разводил охру с белилами, чтобы получить этот конкретный, неповторимый тон плоти. Человека, для которого главным вопросом был: «Что хотел сказать художник?» — а не «Кто кого убил и зачем?» Теперь я думал о мёртвом теле с той же холодной аналитической точностью, с которой раньше думал о живописи.

"Это не плохо", — сказал Довмонт. Он всегда чувствовал мои сомнения — не читал мысли, но чувствовал настроение, как опытный наездник чувствует состояние лошади через поводья, замечает по малейшим движениям шкуры, ушей, ноздрей. — "Это нужно. Здесь нельзя быть только художником. И реставрировать тут пока нечего".

"Я знаю", — ответил я. — "Именно это меня и пугает".

Он не ответил. Но я почувствовал что-то похожее на понимание. Не сочувствие, Дом не был склонен к сочувствию, а именно понимание, как между двумя людьми, которые смотрят на одну и ту же вещь с разных сторон и оба видят правду. И она у каждого своя.

Лагерь под Снятной горой жил своим особым, военным порядком. Большие костры горели там, где их свет был нужнее, часовые стояли на положенных точках, лошади были накормлены и стреножены. Волчья стая умела устраиваться быстро, и пусть с меньшим комфортом, зато надёжно, крепко, что в походных условиях важнее.

Землянка Ингеборги была на краю лагеря, ближе к лесу. Над дерновой крышей дыма не было, но снаружи горел маленький костерок, над которым висел котелок — что-то варилось, пахло травами и чем-то кисловатым.

Князь остановился в трёх шагах от входа, не напротив, чуть правее. Старая привычка подходить к чужим дверям так, чтобы не поймать стрелу в грудь, занесённые меч или топор от не всегда гостеприимных хозяев. У меня такой привычки никогда не было. У меня, как с каждым днём всё яснее и яснее становилось понятно, очень много чего не было. И появлялось только сейчас, поздней осенью 1264 года в лесу под средневековым Псковом.

— Ингеборга, — сказал Дом. Не громко, но так, чтобы было слышно внутри.

Плетёная и обмазанная глиной дверь отворилась со скрипом и заметной натугой. Жира под пятки пожалели? В остальных землянках, точно таких же, ровно такие же двери открывались значительно легче.

Она вышла без плаща, в одной рубахе и понёве. Волосы собраны небрежно, несколько прядей выбились на лицо. Руки с вьёвшейся в кожу смолой и сажей, как у человека, который работает, а не изображает работу. Зелёные глаза смотрели прямо, без страха и без кокетства.

"Красивая", — подумал я, и тут же устыдился этой мысли — не потому что она была неуместной, а потому что она была такой... человеческой. Обычной. Не подходившей холодному и равнодушному Белому Волку.

"Да", — согласился вдруг Дом. И в этом коротком слове было столько всего, что я предпочёл не разбирать.

— С возвращением, — сказала она. Голос был ровным, спокойным, чуть хрипловатым, но не от напряжения, а как у человека, который долго молчал.

— Нужно поговорить.

Она кивнула. Отступила, пропуская его внутрь.

Землянка, такая же, как и любая из нарытых у склона Снятной горы, была небольшой, но явно обжитой, хоть и как-то по-своему, вернее, по-ингеборгиному. На сундуке лежали инструменты: нож, шило, моток верёвки, что-то завёрнутое в кожу. На крюке висела сумка — та самая, которую она не выпускала из рук всю дорогу от Печор. У изголовья постели — маленький предмет, который я не сразу разглядел в полутьме, а когда различил, то замер.

Это была пядница. Маленькая путевая иконка, размером с ладонь, написанная на доске. Лик — женский, но странный: черты слишком правильные, но не канонически, а физиологически или анатомически, в этом времени так не писали точно. И нимб — не золотой, а серебристый, почти белый.

"Это не канон", — сказал я немедленно, и Дом почувствовал, как я напрягся. — "Нимб должен быть золотым. Это не христианская работа. Или — не только христианская".

"Потом", — осадил он меня. — "Сначала дело".

Князь достал клочок пергамента из-за пазухи. Положил на сундук, рядом с инструментами. Не сказал ничего — просто положил и смотрел на неё.

Белая Горюха, ведьма из старых, державшая у изголовья икону, взяла пергамент. Поднесла к свету свечи. В других землянках щёлкали над мисками с водой лучины, роня угольки и тонкие невесомые столбики пепла. Свечи были дóроги для беглецов, не успевших пока обзавестись хозяйством. Каждый знал, что мог попросить у князя или воинов серебра, объяснив,

на для чего оно нужно. И получить либо его, либо то, чего не хватало, что только собирались купить. Но каждый знал и то, что можно перебиться и без свечей.

Ингеборга из Висбю читала долго, гораздо дольше, чем нужно для трёх слов. Или делала вид, что именно читала. Потом опустила руки. Лицо её в неровном свете свечи стало белым. Не бледным, а именно белым, как левкас на свежей иконной доске, — и я понял, что это не притворство и не игра. Это настоящий испуг, который она изо всех сил удерживала внутри. Она, та, которую вся округа боялась до дрожи.

— Где ты это взял? — спросила она. Голос не изменился. Только чуть тише стал и хрипотца почти пропала.

— С тела мёртвого Голована, псковского боярина.

Она не вздрогнула. Только прикрыла глаза на секунду — как человек, который получил удар и переживает боль.

— Ты знаешь, что это значит? — спросил Доман.

— Да.

— Скажешь?

Пауза была долгой. Где-то снаружи лошадь переступила с ноги на ногу, всхрапнув.

"Она молчит", — напряжённо подумал я.

"Я вижу".

"Она знает больше, чем говорит".

"Я вижу", — повторил Дом, и в этот раз в его голосе было что-то, что я не сразу опознал. Не злость. Не подозрение. Что-то более сложное — смесь терпения охотника и чего-то другого, чему у него не было названия, но что я мог бы назвать настороженной тревогой. За неё. И это было неожиданно.

— Ингеборга, — сказал он наконец, и голос его стал тише, почти мягче. Настолько, насколько мог стать мягче голос человека, привыкшего отдавать приказы. И точно отвыкшего от разговоров с женщинами, кроме... — Я вытащил тебя из Печор. Не потому что так велел мне долг, и не потому что ты об этом попросила. Потому что я так решил. Это значит — ты под моей рукой. Это значит — я отвечаю за тебя. Но это также значит, что я могу ждать от тебя правды. Хотя бы для того, чтобы уберечь.

Она открыла глаза. Посмотрела на него — долго, изучающе, как смотрит человек, который давно отвык доверять кому бы то ни было. И вряд ли хотел пробовать снова.

— Не сейчас, — сказала она. — И не здесь. Есть вещи, которые нельзя говорить вслух в лагере, где у каждого костра стоят чужие уши.

Будто в ответ на это снова раздались храп и негромкое ржание. С разных сторон.

"Она права", — сказал я Дому.

"Или тянет время".

"Или права".

Белый Волк смотрел на Белую Горюху ещё несколько долгих секунд. Взгляд серых глаз снова будто тонул в зелени. Потом кивнул — коротко, почти незаметно.

— Завтра, на рассвете, над Стрижиным омутом.

— Хорошо.

Он взял пергамент со сундука, свернул и брал обратно за пазуху, поворачиваясь к выходу.

— Доман, — сказала она ему в спину.

Князь остановился, не оборачиваясь.

— Голован был не тем, кем казался. Но и предателем он тоже не был. Всё куда сложнее.

Он вышел, не ответив, оставив открытой дверь. Глянув на которую мельком понял, что скрипела она не от того, что в подпятниках, местах, куда входил столб, к которому была прибита рама с обмазанным глиной плетнём, не хватало жира. Я вдруг некстати даже удивился

этой технологии, о которой знал из русских народных сказок и археологических сводок. Дверь скрипела из-за того, что в том месте, где столб уходил в порог, был насыпан песок. Для того, чтобы войти бесшумно было невозможно. Она боялась кого-то даже здесь, в окружении волчьей стаи. Она не верила никому.

Ночь навалилась на лагерь тяжело, как мокрая шкура. Доман сидел у костра, глядя в огонь, и я думал вместе с ним — или он думал вместе со мной, мы давно уже перестали разбирать, где была граница одной памяти и одного разума.

"Что она имела в виду?" — спросил я.

"Что Голован служил кому-то ещё. Не Онуфрию, не ливонцам. Кому-то третьему".

"А может, она пытается нас запутать?"

"Зачем ей это?"

"Не знаю. И именно поэтому это может быть опасным. Для тебя, для наших людей, для стаи...".

Доман подбросил ветку в огонь. Искры взлетели и погасли в темноте. Поднялись в воздух все вместе, а пропала каждая по отдельности. Облако маленьких смертей...

"Ты заметил икону?" — спросил я, не дождавшись ответа.

"Да".

"Нимб белый. Это не православная иконография и не католическая. Это что-то третье. Я видел похожие изображения только дважды, в каталоге, в архивах. Балтийский регион, дохристианский пласт. Очень редкая икона. Называлась по-разному: Белая Дева, Белая Госпожа, у пруссов — Лаума".

Доман молчал. Я чувствовал, как он обрабатывает эту информацию — методично, без спешки.

"Ты думаешь, она — жрица Белой Девы?"

"Я думаю, что она знает о Старых Богах больше, чем говорит. И что записка на ганзейском пергаменте — это не случайность. Кто-то из Висбю следит за ней. Или за нами через неё".

"Или она сама послала эту записку".

Эта мысль висела между нами, как дым над костром. Неприятная. Но неотступная.

"Тогда почему она побледнела и так испугалась?" — спросил я. — "Такое не сыграешь, она и впрямь была в ужасе".

"Потому что задумка её пошла не так, как она рассчитывала".

Я не нашёл, что ответить. Он тоже молчал. Мы оба смотрели в огонь, и огонь смотрел на нас в ответ — равнодушно, как смотрит на людей всё то, что было до них и будет после.

У одного из дальних костров кто-то тихо пел — один из Домановых, что-то протяжное и тёмное, как осенняя вода, как долгая холодная ночь. Я думал о пергаменте. О ровных буквах без наклона. Об убийце, который ушёл за пару мгновений до того, как мы нашли тело. Спутав следы в чёртовом муравейнике большого города так, что их нельзя было отыскать. И о том, что след вполне мог бы вести сюда. В этот лагерь. К той землянке, в которой за скрипучей дверью сидела одинокая ведьма из старых. Перед очередной невозможной иконой. Она не покидала лагеря, не уходила отсюда. Ингеборга из Висбю могла надевать чужие личины, говорить не своими голосами. Но не могла же она быть одновременно в двух местах, между которыми неделю скакать, как на пожар?

"Завтра на рассвете", — сказал Дом. — "Если она скажет неправду — я буду знать".

"Откуда?"

"Всегда знаю, когда мне лгут".

Я не стал спорить. Потому что, к своему собственному удивлению, верил ему. Как себе.

Костёр догорал, делая ночь темнее, гуще. Где-то в чёрном холодном лесу, в стороне Пскова, раздался стон сыча. Тот же голос, что будто первым зарыдал над телом Голована в Новгороде. Другая птица. Или та же самая, прилетевшая за нами следом.

Я разжал пальцы, сжимавшие проклятый клочок пергамента, и убрал его поглубже за пазуху, почувствовав, как холодная кожа коснулась груди. *Proditor manifestus est.* Предатель разоблачён. Но кто — предатель? И кем разоблачён? И главное: кому именно адресовано это послание — Головану, или тому, кто найдёт его в ещё тёплой, но уже мёртвой руке? Или тому, кому будут показаны эти три слова после?

Ответ на этот вопрос мог изменить всё. Но его не было. Пока не было.

## Глава 2. Над омутом

Рассвет над Стрижиным омутом был тихим и серым, как пустая старая кольчуга, чуть подёрнутая по левому краю ржавчиной. Только сейчас не коричнево-оранжевой, а пепельно-розовой, отблеском готовившегося подняться холодного осеннего Солнца. Туман слоился над чёрной ещё водой, цеплялся за голые ветви ив, и казалось, что само время здесь замедлилось, свернулось кольцами. Как Мировой Змей на белой спине. Звуки гасли в этой ватной тишине — ни всплеска рыбы, ни птичьего крика. Только дыхание леса за спиной, сырое и тяжёлое, да едва слышный шёпот воды, целовавшей глинистый берег внизу, под обрывом.

Доман пришёл первым. Он стоял на самом краю, там, где река подмыла край, обнажив корни старой ветлы, похожие на скрюченные узловатые пальцы огромного древнего покойника. Отсюда хорошо просматривалась и тропа, и река, и подступы, заросшие невысоким кустарничком, почти сбросившим до весны листья. Место для разговора он выбрал неслучайно — открытое, но не для чужих глаз, глухое, но с путями отхода. Старая воинская привычка: всегда знать, куда отступить, даже если отступить не собираешься. *Особенно* если не собираешься.

Я чувствовал его настороженность, как свою собственную. Она не была липкой или нервной — это была холодная, расчётливая готовность ко всему. К удару из-за спины, к стреле из кустов, к яду на наконечнике той стрелы. Или в словах, что прозвучат. Если они прозвучат, конечно. Он ждал правды, но был готов к любой лжи. И к любому предательству. А ещё я чувствовал что-то другое. То, что он тщательно прятал даже от себя самого. Ожидание. Не только ответов, но и просто встречи. С ней.

Ингеборга появилась из тумана бесшумно, как рысь. Не по тропе, а откуда-то сбоку, из зарослей ольшаника, где, казалось, и пройти-то нельзя было, не переломав сучьев и не подняв шуму на всю реку. На ней снова был тот странный вамзис — тёплая безрукавка из валяной шерсти, и длинный плащ, сейчас вывернутый лисьим мехом наружу. За спиной — неизменный мешок. Сегодня она не играла ни одной из своих ролей, не пряталась под личинами. Сегодня она была собой — уставшей, напряжённой, с тёмными кругами под зелёными глазами. И от этого казалась ещё опаснее. И ещё красивее, хоть я и гнал от себя эту мысль, понимая её полную неуместность.

— Ты не спала, — сказал Доман.

— Как и ты, — ответила она, останавливаясь в трёх шагах. Ровно на той границе, с которой удобно и атаковать, и защищаться. — Я думала.

— И что надумала?

Белая Горюха посмотрела на воду. Туман медленно сползал по течению, открывая чёрное, маслянистое зеркало омута, в котором отражалось медленно начинавшее светлеть небо. Где-то там, на дне, лежал Стриж — наёмный убийца с перерезанным горлом, которому уже было всё равно, кто, за сколько и для чего нанял его и остальных. А вот нам — нет.

— Что ты был прав, когда не доверял никому, — произнесла она наконец. Голос звучал ровно, почти безжизненно. — И что я должна была сказать тебе раньше. Но не могла. Боялась.

— Ты? — в голосе князя мелькнуло удивление. — Белая Горюха, которой страшат детей от Пскова до Юрьева, — боишься?

— Не только от Юрьева до Пскова. И боюсь я не за себя, — она резко повернулась к нему, и в зелёных глазах полыхнуло что-то, похожее на отчаяние. — Я боюсь за то, что старше меня. Старше всех нас. За то, что может умереть вместе со мной, если я ошибусь.

Доман молчал. Молчал и я. Тишина над омутом висела плотная, тяжёлая, как сырое старое покрывало.

— Ты спрашивал про послание, писанное латынью, — продолжила она тише. — Про того, кто мог его отправить. Это не ливонцы. И не люди Онуфрия. Это — те, кто стоит над ними. Те, кто направляет их, как охотничьих псов. Монахи. Но не те, что молятся в церквях и благословляют воинов, а другие. Те, кто обосновался на Святой Земле, в Акре и Монфоре. Тевтоны. Братья Немецкого дома Святой Марии в Иерусалиме.

Она выдохнула эти слова, как проклятие. И я почувствовал, как напрягся Доман. Он слышал о тевтонах. Знал, что это не просто рыцари, это Орден внутри Ордена, полный тайн и загадок. Самые фанатичные, самые жестокие, самые непримиримые. Те, кто не брал пленных и не признавал никаких соглашений и клятв, если они мешали их целям. Даже если сами те клятвы и давали, именем Спасителя и Пресвятой Девы Марии

— Они сильнее ливонцев, — говорила Инга, глядя на воду. — И гораздо опаснее. Ливонцам нужна земля, дань, власть. Им — всё то же самое, а ещё души. Они свято верят в то, что только их вера истинна, а всё остальное — ересь, подлежащая уничтожению. Не обращению, не исправлению, а именно уничтожению. Вместе с теми, кто её исповедует. Или даже просто помнит.

— Старые Боги, — произнёс Доман.

— Да, Старые Боги. Те, кому молились здесь задолго до того, как первые проповедники принесли крест. И до того, как Христос внёс свой крест на Голгофу. И до того, как выросли те кипарис, сосна и кедр, из которых тот крест сколотили. Те, чьи имена ещё шепчут в лесах и на болотах, чьи чурлы и лики ещё хранятся в тайных местах. Тевтоны знают о них. И они размеренно, шаг за шагом, выжигают эту память. Не просто убивают жрецов и разрушают капища — они стирают саму возможность помнить. Потому что, пока жива память, жива и вера. А пока жива вера — живы и Боги.

Она замолчала. Ветер шевельнул ветви ив, и туман над омутом дрогнул, расползаясь ключьями. Где-то далеко, на плёсе, вскрикнула невидимая птица — резко, тревожно, будто напуганно.

— Ты говоришь так, будто знаешь об этом от кого-то, кому веришь, — медленно сказал князь.

— Знаю. Мой род... мы не просто торговцы и воины. Мы — хранители. Уже много поколений наши женщины, от сопливых девчонок до дряхлых старух, хранят память о Той, кого здесь, на берегах Псковского и Ладожского озёр, народ сету называл и называет Белой Девой. А у нас, на севере, звали Лауме, древняя Богиня, Мать Мира. Та, что дарует жизнь и забирает её, когда приходит срок.

Она снова замолчала, будто собираясь с силами. Я чувствовал, как каждое слово даётся ей с огромным трудом — не потому, что она лгала, а потому, что говорила правду, которую, возможно, не произносила вслух никогда в жизни. Особенно чужакам или мужчинам.

— Почти три сотни лет назад, когда с юга пришли проповедники нового Бога, те, кто ещё владел древними тайнами рисунка, сделали невероятное. Они спрятали лики Белой Девы и других Старых. Не уничтожили, не закопали в землю — спрятали на виду. Они написали их так, что они стали похожи на изображения Богородицы. Те же позы, те же одежды, те же жесты. Но глаза... глаза остались прежними. И тот, кто умел видеть, всегда мог узнать Её под чужой личиной. Как и Она всегда узнавала своих.

Она подняла взгляд на Домана. В зелёных глазах стояли слёзы, голос был звенящим, но твёрдым.

— Мой род издавна торговал с жителями этого края. Мы заключали союзы, рождались. И хранили общую тайну и веру. Передавали от матери к дочери знание о том, как отличить истинный лик от поддельного. Как уберечь святыни от чужих глаз. Но теперь... теперь всё изменилось. Наступление католиков с запада — это не просто жажда земель и богатств. Это — облава, загонная охота. Охота на последнюю память о Старых Богах. На тех, кто ещё помнит. И

тевтоны — её самые безжалостные гончие псы. На землях пруссов, латгалов, эстов за неполный десяток лет уже не осталось тех, кто верит.

Доман долго смотрел на неё. Потом перевёл взгляд на омут. На ту чёрную воду, в которой, как и многие тысячи лет, отражалось то же самое небо.

— Ты рассказала мне это, потому что боишься, — произнёс он наконец. — Но не за себя, а за свою тайну. За свою Богиню. И ты хочешь, чтобы я защитил... Но не тебя, а Её.

— Да, — просто ответила она. — Я устала бежать, устала прятаться и притворяться. Себя я могу защитить и сама. Псы, снующие всюду, не так страшны, как их хозяева. Собак можно запутать, обмануть, направить по другому следу. Но те чёрные тени, что держат в руках поводки, сами обманут кого угодно. Ты... ты другой. Ты не похож на тех, кого я встречала раньше. Ты говоришь с Богами так, будто имеешь на это право. И Они отвечают тебе. Я видела это в Печорах.

Князь чуть заметно усмехнулся.

— Известный враг не так страшен, как тот, кого не видишь, — сказал он. — Я не боюсь тевтонов. Я не боюсь никого, кого можно убить мечом или стрелой. Но мне нужно знание, чтобы лучше видеть. О них, об их целях, о том, где искать их слабые места. У нас говорят: волк может промахнуться, прыгая на оленя из-за ёлки. Сокол не промахивается мимо мыши, падая из-под облаков. Потому что видит больше, и ёлки ему не помеха. Ты дашь мне знания. А я дам тебе защиту. Своё слово. Свою руку. Свою стаю.

Инга смотрела на него долго, изучающе. Будто видела впервые. Потом медленно, очень медленно кивнула.

— Хорошо. Я расскажу тебе всё, что знаю сама, Белый Волк. Но и ты должен знать: есть вещи, которые нельзя говорить вслух даже здесь, на пустом месте над Великой рекой. Есть тайны, которые убьют любого, кто к ним прикоснётся, если он не готов.

— Я готов, — просто сказал Доман. — Говори.

И она заговорила.

Ветер окреп, разогнав последние клочья тумана. Над лесом поднималось неяркое осеннее Солнце, окрашивая верхушки сосен в рыжий и золотой. Я слушал её рассказ — о тайных орденских замках в Ливонии и Пруссии, о странных монахах, которые появлялись в городах и весях, а потом так же внезапно исчезали, оставляя за собой пепелища и мёртвую тишину, о символах, которые они рисовали на камнях и деревьях — белый крест в круге, перечеркнутый молнией. Слушал и понимал: то, с чем мы столкнулись, было не просто политикой или войной за ресурсы. Это была война на уничтожение. Война Богов. И мы с князем в ней — не просто пешки. Мы — те, кто мог изменить её ход. Если выживем.

Она закончила и замолчала, глядя на воду. Молчал и Дом, переваривая услышанное. Я чувствовал, как в нём борются два чувства: холодная ярость воина, узнавшего врага, и что-то ещё. Что-то, похожее на... сострадание? Понимание? Он, потерявший свою Девану, свою Богиню, лучше многих знал, что значит хранить память о тех, кого больше нет. И защищать тех, кто ещё жив.

— Ты всё сказала? — спросил он наконец.

— Всё, что могла. Пока.

Он кивнул. Отвернулся от воды и уже почти собрался встать на ноги, когда из зарослей ольшаника, откуда появилась Инга, раздался тихий, еле уловимый шорох. Доман замер. Рука легла на рукоять меча. Инга тоже напряглась, превратившись в сжатую пружину, в кошку, готовую к прыжку. И из рукавов у неё показались края серебрястых звёзд-дисков

Но из кустов вышел не враг. Из-за ёлки, опираясь на свой неизменный посох, шагнул Тихон. Слепой старик двигался так, будто видел каждый корень, каждую ветку, все до единой пожухлые травинки на берегу, отсюда и до самого Пскова.

— Доброго утра, княже, — произнёс он своим скрипучим голосом. — И тебе, девица-краса. Хорошее место для разговора выбрали, глухое. Только вот эхо здесь больно звонкое. Далеко слышать по воде.

Доман переглянулся с Ингой. Она едва заметно качнула головой, мол, не услышала шагов. Князь и сам их не слышал. А это значило, что старый слепой воин был ещё опаснее, чем казался. Ещё один, третий по счёту здесь, над Стрижиным омутом.

— Давно слушаешь, Тихон? — спросил Доман ровно.

— Достаточно, чтобы понять: девочка правду говорит, — ответил старик, подходя ближе. — И достаточно, чтобы вспомнить кое-что, о чём и сам запамятовал. Стар стал. Память дырявая, как решето. И глаза не те уж. В упор иного не разгляжу, слушать вот приходится.

Он остановился в двух шагах, опершись на посох. Поднял лицо к небу, будто приносиваясь.

— Ты говорила о ликах, что спрятаны под чужими одеждами, — произнёс он, обращаясь к ведьме из старых. — Верно говорила, есть такие. Совсем мало осталось по-настоящему первых, святых ликов. Тех, что были написаны ещё до того, как родились прапрадеды первых проповедников, что сюда пришли. Каждый из них носит личину, как и мы все. Как и я. Как и ты, княже.

Он повернул голову к Доману, и мне стало не по себе от этого незрячего, но всевидящего взора. Без глаз.

— Ты, говорят, был в Перыньском скиту. Видел иконы, те, что стоят в гриднице у старого Воемира. Помнишь ли их?

— Помню, — ответил Доман. — Странные они. Как живые, и глаза искрят, то словно снег под луной, а то как молнии. И Богородица... она держала на руках мёртвого младенца. А по подолу у неё колёса с семью спицами катились. Огненные.

Тихон кивнул, и на его изуродованном лице мелькнуло что-то, похожее на довольную улыбку. Ингеборга из Висбю распахнула глаза, зажав рот обеими ладонями.

— Воемир... я знал его, когда он ещё не был Ионой. Хороший воин, справный и верный. И глазастый — не то что я. Раз он показал тебе те лики и позволил молиться перед ними — значит, признал. Значит, увидел в тебе то же, что и я... почуял. Жди вестей от него. Скоро даст о себе знать.

— Каких вестей? — насторожился князь.

— А вот об этом уж, — дед хитро усмехнулся, — пусть он сам тебе расскажет. Моё дело — предупредить. И пригласить. Пойдём-ка, княже, в обитель, к игумену Иоасафу. Есть там кое-что, на что тебе стоит глянуть. Или, — он сделал паузу, и усмешка его стала ещё шире, — не глянуть, а... увидеть. Как ты умеешь.

Дед развернулся и, не дожидаясь ответа, зашагал по тропе в сторону Снятной горы. Доман бросил быстрый взгляд на Ингу. Она кивнула — мол, иди ты, а я потом. И князь пошёл за слепым стариком, который вёл его по лесу так уверенно, будто каждый куст здесь был ему родным.

На подворье обители тянуло свежей смолой и сырой землёй. Отец Иоасаф, всё такой же высокий и худой, встретил нас у входа и, не говоря ни слова, провёл в дальнюю келью — маленькую, с одним узким окном, затянутым бычьим пузырьём. Посередине стоял грубо сколоченный стол, а на нём, на куске чистого холста, лежали три доски.

Старые. Очень старые. Тёмные, почти чёрные от копоти и времени. Я видел такую сохранность раньше, тем иконам было по семь-восемь сотен лет. Сколько же тогда этим? На первый взгляд — просто куски дерева, на которых уже почти ничего нельзя было разобрать. Какие-то смутные пятна, жалкие остатки золотых блёсток, глубокие трещины, рассекавшие

поверхность, как морщины на лице древнего старика, на которого смотришь, и не можешь понять — живой ли?

— Вот, — сказал Тихон, останавливаясь у стола. — Гляди, княже. Если чего углядишь...

Игумен молча перекрестился и отошёл к стене, сложив руки на груди. В его глазах читалось напряжение и... надежда? Или страх?

Доман подошёл к столу. Протянул руку и осторожно, бережно, коснулся пальцами края одной из досок. Понимая, чуя, что здесь нельзя было выказывать неуважения или ошибаться. Дерево наощупь было сухим, тёплым, шершавым. Тактильная память князя-воина больше ничего определить не могла.

И в этот момент я — Тимофей Позёмов, художник-реставратор, человек из двадцать первого века, — впервые за долгое время почувствовал себя собой. Не гостем в чужом теле, не бесплотным наблюдателем, а самим собой. Профессионалом, тем, кто держал в руках многие сотни таких досок. И некоторым из них даже возвращал жизнь.

"Позволь мне", — попросил я. И Дом, впервые за всё время, без колебаний уступил. Его руки стали моими руками. Его глаза — моими глазами.

Я склонился над доской. Первым делом — материал. Липа? Нет. Сосна? Тоже нет. Очень плотная, слишком тяжёлая древесина, с едва заметными тёмными прожилками. Дуб. Морёный дуб. Такие доски использовали задолго до Крещения Руси. Этим не меньше пяти-шести сотен лет. А то и больше.

Я перевернул доску, осмотрев торцы. Руки двигались плавно и неспешно, будто отдельно от тела, которое замерло в напряжении. Шпонки набивные, и в каждой — кованые гвозди, вбившиеся в дерево так, что стали с ним единым целым. И гвозди, кажется, серебряные! Это даже не домонгольский период, это совсем уж какая-то седая старина. Доска тонкая, с глубокой рамкой-ковчегом. Липа или сосна точно не сохранились бы так долго — даже идеально подготовленные, высушенные в тени и обработанные доски со временем начинают "вести", коробить. Новгородская или псковская школа? Нет, ещё старше. Гораздо старше.

Левкас-холст. Я поднёс доску к самому окну, поймав скудный осенний свет. Белый грунт, видимый кое-где под слоем олифы и копоты имел странный, чуть сероватый оттенок. Это не мел и не гипс. Что-то другое. Я поскрёб ногтем крошечный скол на нижнем правом краю. Частицы были твёрдыми, почти каменными. Толчёный известняк? Полевой шпат? Нет, что-то другое. Что-то, о чём я читал только в старых трактатах, но никогда не видел своими глазами. "Каменная мука" — так называли это древние мастера. Секрет, утраченный ещё в четырнадцатом веке.

Пигменты-краски. То, что осталось от изначальных образов, было почти неразличимо под слоем поздних записей и грязи. Но кое-где, в глубоких трещинах кракелюра, сохранились крошечные островки оригинального красочного слоя. Я наклонился ещё ближе, задержав дыхание. Санкирь? Да, но не тот оливковый, византийский, а более холодный, серо-голубой. Охра? Нет, что-то ярче, чище. Киноварь? Местная, не привозная — слишком густой, насыщенный тон, с едва уловимым оранжевым отливом. И ещё... рефть. Та самая легендарная "псковская зелень", секрет которой тоже был утерян. Глауконит, минерал, который добывали где-то здесь, в чудских краях. Минерал, который при определённом освещении менял оттенок с зелёного на синий и обратно. Минерал, который стоил дороже золота.

"Господи, — подумал я, чувствуя, как начинают дрожать ноги. Руки, державшие сокровище, не шелохнулись. — Это же... это же не просто старые иконы. Это..."

"Что, Тим?" — напрягся Доман.

"Это то, о чём говорила Инга. Спрятанные лики. Смотри сам!"

Я положил доску на холст бережнее, чем младенца. Вытянул нож-засапожник, воспользовавшись и им, и памятью тела Дома, как своими собственными. Самым кончиком отслоил

крошечный фрагмент поздней записи — тёмной, почти чёрной олифы, под которой скорее угадывались, чем виднелись контуры одеяния. Малый кусочек поднял за собой чуть больший, как бывает, когда отходят друг от друга слои слюды или бересты: верхний, самый тонкий, отходит сильнее нижнего. И под ним, в тусклом свете из окна, проступило нечто, от чего у меня перехватило дыхание.

Не лик святого. Не складки одежд. Под слоем поздней темперы, нанесённой, судя по технике, веке в одиннадцатом, пряталось другое изображение. Геометрический орнамент. Чёткие, резкие линии, складывающиеся в узор, который я сразу узнал. Громовое колесо. Перунов знак. Спицы, расходящиеся из единого центра, заключённые в круг. А рядом — другие символы. Угловатые, похожие на руны. И ещё — волнистые линии, как пиктограммы воды или символические изображения змей. И точки, складывающиеся в созвездия северного полушария.

Я перевёл взгляд на вторую доску. Та же история. Под поздним изображением какого-то святого в монашеском одеянии — снова геометрия. Квадраты, ромбы, пересекающиеся линии, образующие сложную, завораживающую сетку. "Земля", — всплыло в памяти. — "Знак Матери-Земли".

Третья доска. Самая тёмная, самая старая. Я смотрел на неё долго, боясь дышать. Под слоем копоти и олифы угадывался женский лик. Но не Богородицы. Черты лица были другими — более резкими, властными. И глаза... даже сквозь грязь столетий они смотрели так, что мороз продирает по коже. Серо-голубые, с серебристыми искрами. Как у той иконы в Перыньском скиту. Как у Мары-Заряницы. Как на образе с серебряным нимбом, виденном в землянке Ингеборги.

"Белая Дева", — прошептал я. — "Это Она".

Дом молчал. Я чувствовал, как он потрясён не меньше моего. Но его потрясение было другим. Не профессиональным восторгом историка или реставратора, а чем-то более глубоким, древним. Он смотрел на эти знаки, и будто сама его кровь, кровь многих поколений воинов, веривших в Перкунаса и Деваса, узнавала их. Вспоминала.

— Ну что, княже? — раздался скрипучий голос Тихона, едва не напугав. — Видишь ли?

— Вижу, — хрипло ответил Доман. — Это не христианские иконы. Это... другое. Совсем другое.

— Другое, — кивнул слепой старик. Он подошёл ближе, протянул свою изуродованную руку и осторожно, одними подушечками пальцев, коснулся поверхности доски. Я подвёл её к открывшемуся фрагменту с громовым колесом. Лицо Тихона дрогнуло. По щеке, перепаханной шрамами, покатила слеза, будто проступившая прямо сквозь уродливую борозду шрама. — Ты и впрямь видишь то, что сокрыто. Ты возвращаешь к жизни то, что считалось утерянным, умершим. Кто ты такой?

Он повернул голову к Доману, и я забыл, что глаз на лице старика не было. Он *смотрел* нам в душу. *Видя* две на месте одной.

— Я — Доман из Утены, — ответил князь. — Князь и воин. Тот, кто дал слово защищать эту землю и этих людей.

— Нет, — покачал головой Тихон. — Это всё — личины. Как и те, что надеты на эти лики. Я спрашиваю не об этом. Я спрашиваю: кто смотрит твоими глазами? Кто знает то, чего не может и не должен знать князь-изгой с литовского порубежья?

В келье повисла тишина. Такая глубокая, что я слышал, как бьётся наше общее сердце. Дом молчал. И я молчал вместе с ним. Что он мог ответить? Что в нём живёт душа человека из будущего? Что он сам до конца не понимает, кто он теперь — Доман или Тимофей? И в своём ли он уме? И чей ум считать своим?

— Я тот, кто хочет сохранить это, — сказал он наконец, положив ладонь на старую изувеченную доску, поверх такой же руки слепого. — Сбереечь, не дав погибнуть. Не дать забыть. Этого достаточно?

Тихон долго не двигался. Потом медленно, очень медленно кивнул.

— Достаточно, — произнёс он, и голос его дрогнул. — Более чем. Я ждал такого, как ты, всю свою жизнь. Наставник говорил, что однажды придёт тот, кто сможет увидеть сквозь время. Тот, в ком соединятся кровь воина и дух творца. Я не верил, думал — сказки. Думал — успокоить хочет, утешить, обмануть. А он не лгал. Никогда не лгал...

Он замолчал, собираясь с силами. Потом выпрямился, насколько позволяла его сторбленная спина, и заговорил — тихо но твёрдо.

— Я не просто убогий калечный ратник, княже. Я — один из последних, кто хранит память о Старых Богах. Ученик тех, кого жгли, топили и рубили вместе с чурами-истуканами, но так и не смогли извести до конца. Они ушли в тень, став теми, кого не видят. Слепыми, убогими, юродивыми. Но сохранили память и веру. И ждали.

— Чего? — спросил Дом.

— Того, кто вернёт надежду. Кто может не просто убивать врагов, но и возвращать к жизни то, что они уничтожили. Ты смог вдохнуть жизнь в лики, давно считавшиеся мёртвыми. Ты увидел незримое. Ты — тот, кто сможет укрепить веру надеждой. Тот, о ком говорил Наставник.

Он шагнул вперёд и, поразив нас с Доманом, опустился на колени прямо на земляной пол кельи. И склонил седую голову.

— Я верил и верю, — произнёс он глухо, будто самой Матери-Земле говоря сокровенное. — Я хранил Их тайны, как умел. Теперь я прошу тебя, княже: прими мою службу. Мои знания — твои. Мои люди — те, кто ещё помнит травы и руды, кто знает тайные тропы и древние слова, — твои. Дай нам надежду. Дай нам возможность жить открыто, не прячась, как звери. И мы откроем тебе Их тайны, ведомые нам.

Доман смотрел на него сверху вниз. На старого, искалеченного, но не сломленного человека, который вручал ему свою жизнь и жизни своих людей. На слепца, который видел гораздо больше многих зрячих. На хранителя древней веры, который только что признал в нём того, кого ждал невозможно долго.

— Встань, — сказал он наконец. — Я не тот Бог, перед которым потребно стоять на коленях. Я вообще не Бог, я — воин. Такой же, как и ты. Встань.

Тихон медленно поднялся. Его лицо было мокрым от слёз, но в нём светилась такая надежда, такая радость, что у меня перехватило дух. У меня — у бесплотного привидения из призрачного будущего.

— Твои люди — травники, рудознатцы, — заговорил Дом, когда старик судорожно вытер лицо рукавом. — Они могут войти в мою дружину? Есть ли среди них воины?

— Могут, — кивнул Тихон. — Если ты дашь им защиту и слово, что их не тронут за Старую веру. Многие из них уже крещены. Как и твои ратники.

— Дам. Отец Иоасаф, — князь повернулся к игумену, который всё это время стоял у стены, не шевелясь и, кажется, не дыша. — Твоя обитель сможет принять их под свою руку? Как послушников, трудников, учеников — сам решишь. Для всего Пскова, для всех они будут теми, кто принял твою духовную власть. И мою воинскую защиту.

Настоятель долго смотрел на него. Потом перевёл взгляд на иконы. На древние, тёмные доски, хранившие лики Старых Богов. И перекрестился — широко, истово.

— Смогу, княже, — ответил он твёрдо. — Господь учил нас милосердию. Эти люди хотят жить в мире и труде — я не смею отказать им в крове. Они веруют... — он сделал паузу. — Бог один. Имена могут быть разными, но суть одна. Я это понял давно. Ещё когда сам Антипкой был.

Доман кивнул. Потом снова посмотрел на Тихона.

— Договорились, старче. Твои знания — моя сила. Моя защита — твой покой и мир в домах твоих людей, ставших моими. Будем жить вместе. И биться станем вместе, если придётся. *Когда* придётся.

Слепой старик улыбнулся — широко, открыто, по-настоящему. И в этой улыбке было столько света, что, казалось, в тёмной келье стало светлее.

— Быть по сему, княже, — сказал он. — Быть по сему.

Я смотрел на них — на слепого волхва, на бывшего ушкуйника в монашеской рясе — глазами молодого князя-воина. Судьба свела вместе трёх очень разных людей. Судьба, Боги или случай — определение, как и думал Дом, вряд ли имело значение. И понимал: только что, в этой маленькой келье, под старой Снятной горой, родилось что-то новое. Что-то, чему ещё только предстояло обрести имя и силу. Союз не просто политический, воинский или торговый. Союз тех, кто будет хранить и защищать то, что дороже чужих и своих золота и власти. Память, знание и вера объединили троих, и наверняка свяжут ещё десятки и сотни судеб. Та вера, что жила здесь задолго до нас. И будет жить после.

### Глава 3. Что поможет в холода

Утро началось не с петухами, а с конского топота. Дозорные, сидевшие в секретах по дальним подступам, пропустили спешившего беспрепятственно: воеводу Кондрата знали в лицо, а забывать кого-то, виденного хотя бы единожды, в стае не умели. Медведь-воевода влетел в лагерь на взмыленном жеребце, прыгнул тяжело, едва не оступившись на подмёрзшей за ночь глине, и сразу потребовал князя. Конь его вскинул голову, хрипло и облегчённо заржав, кажется, тоже крича что-то, вроде "иди-и-и-и!".

Доман сидел у костра с кружкой горячего взвара, одного из тех, что заваривал Вит по утрам, добавляя какие-то одному ему ведомые травы и ягоды для бодрости и ясности ума. Рядом, на бревне, пристроился Лукас, молчаливый и хмурый, как всегда. Тихон, появившийся в лагере ещё затемно, грел изуродованные руки над огнём и, казалось, дремал.

— Здрав будь, княже, — выдохнул Кондрат, принимая из рук Лука такую же берестяную кружку-туесок. Отпил, обжигаясь, выругался сквозь зубы и продолжил, понизив голос: — Новости из Новгорода. Добрые. И не очень.

— Говори, — велел Доман, не меняя позы.

— Четверо убийц, что таились на Ганзейском подворье, ушли из города. Ночью, тихо, как мыши. Пётр, старший над стражей Ярославовой, рвёт и мечет — его люди прозевали лиходеев. Великий князь в гневе, говорят. Но не на Петюню — на бояр, что покрывали тех змеёньшей. Юрий Михайлович, тесть будущий, уже, говорят, все локти искусал с досады, себе и торгашам своим подручным — хотел очернить тебя перед Ярославом, да не вышло.

— Почему? — спросил Лукас, опередив князя.

— А потому, — Кондрат хитро усмехнулся в усы, — что Ярослав Ярославич нашёл тот самый клад, о котором ты ему поведал. В точности там, где ты и сказал. Десятка на два с половиной гривен серебром, но цена совсем другая. Украшения заморские, да такой тонкой работы, что все диву даются, давным-давно такой красоты не видали. Старики говорят, едва ли не при Рюрике Старом тот клад прятали. В общем, вышло всё, как ты обещал. Великий князь теперь уверен: ты — человек слова. И все попытки торгашей да бояр оболгать тебя он отверг с яростью, ногами топал, посудой бросался. Велел не лезть в военные дела, а заниматься своими лавками да амбарами.

Доман кивнул. Лицо его осталось бесстрастным, но я чувствовал, как внутри него разливается холодное удовлетворение. Не радость — именно удовлетворение мастера, чей расчёт оправдался. Он не ошибся, поверив мне, я не ошибся с местом Воздвиженского клада, а Ярослав признал в нём если не равного, то, по крайней мере, полезного союзника. Это было хорошо. Но недостаточно.

— Ты не рад, что ли? И будто бы и не удивился даже, что великий князь так себя повёл? — поднял мохнатые брови Кондрат. — И о чём думаешь — непонятно вовсе по тебе.

— Думаю о том, что голубь твой вестовой, воевода, с собаку размером должен быть, — проговорил Дом. — Ишь сколько новостей принёс, как и не надорвался только.

— Три было голубя-то, — сперва ответил удивлённый медведь, а потом понял, что выдал, видимо, военную тайну, и насупился.

— Это хорошие вести. А какие не очень? — спросил князь, глядя в огонь.

— А не очень те, что убийцы ушли. И ушли они, скорее всего, сюда, ко Пскову. Четверо опасных, умелых, знающих своё ремесло. Пётр говорит — наёмники высокого полёта, как бы не почище Стрижа-паскудника. Таких для того, чтоб случайному обидчику или торгашу, что дорогу перешёл, бока намять, не нанимают. Таких зовут, когда нужно убрать кого-то очень важного, задорого, чтоб вернее верного. Или когда нужно сделать так, чтобы смерть выглядела

случайной, вроде как шёл человек себе, оступился на крылечке да шею и сломал. А ещё, говорят, тёмные дела за ними водятся. Когда покойников потом наполовину сожжённых находили. Или со знаками тайными на спинах да лбах вырезанными...

Тихон, до того сидевший неподвижно, чуть шевельнулся. Его незрячее лицо повернулось к Кондрату.

— Орденские гончие, — произнёс он одними губами.

Воевода вздрогнул, будто его ударили.

— Что?! Ты, старый, откуда...

— Оттуда, — перебил его слепой старик. — И князь теперь тоже знает. Эти четверо — не просто убийцы. Это — за душами охотники. За памятью. За теми, кто ещё помнит Старых Богов. И посланы они, думаю, не за тобой, княже. Они по мою душу придут. И по её вон, — он мотнул головой в сторону леса, где угадывались очертания дальней землянки.

Доман молчал. Я чувствовал, как в его голове раскладываются по полочкам новые вводные. Четверо убийц. Охота на хранителей древней веры. Тевтонский след. И даже случайно найденный клад, подтвердивший его слово перед великим князем. Всё это складывалось в картину, которая ему не нравилась. Потому что она требовала действий. Быстрых, решительных и, кажется, масштабных.

— Тихон, — произнёс он наконец. — Ты говорил, что можешь привести своих людей. Сколько?

Старик чуть склонил голову, будто прислушиваясь к чему-то внутри себя.

— В три седмицы — четыре сотни тут сядут. Из них сотня воинов, остальные — жёны, дети, старики. Травники, рудознатцы, мастера по дереву и глине, плотники да кузнецы. Ещё через пять-семь седмиц — сотен шесть-семь смогут добраться, если вести сейчас разослать. Но это если не ударят лютые морозы раньше срока и лёд на реках крепкий не встанет. Тогда, может, и быстрее доберутся.

— Тысяча душ, — выдохнул Лукас. — Тысяча голодных ртов.

— Воинов среди них — хорошо если две сотни наберётся, — добавил Кондрат, хмурясь. — Остальные — обуза. Прости, старче.

— Правду говоришь, воевода, нечего извиняться за правду. — не обиделся Тихон. — Обуза они. Но и сила тоже. Эти люди знают то, чему мало кто учён. Где брать глину для горшков и кирпичей, как мешать с песком да золой, как обжигать, чтоб половина не полопалась, как бывает. Как варить железо из болотной руды с камнями тайными. Где искать другие камни, из каких раньше краски делали. Как растить хлеб на скудных землях и ловить рыбу сетями, которые в воде не гниют. Это не просто рты, это — руки, княже.

Доман поднялся. Руки — это хорошо. Руки — это дома, еда и товары на продажу. А если ещё и мечи-топоры-луки держать обучены... Рукам нужна работа. А телам, к которым те руки приставлены — крыши над головами и тепло и прокорм. Князь медленно прошёлся перед костром — три шага туда, три обратно. Остановился, глядя на восток, где над лесом разгоралась заря.

— Начинаем строиться, — сказал он. — Не весной. Сейчас.

— Зимой?! — ахнул Кондрат. — Ты в уме ли, княже? Земля мёрзлая, лес сырой, люди голодные...

— Земля мёрзлая только сверху, — спокойно возразил Доман. — Если рыть землянки — глина под дёрном мягкая. Лес будем валить и сушить тут же, над кострами, какими станем землю греть. Еду добудем: лес кругом, река за горой. Твои люди, Тихон, успеют до больших снегов добраться?

— Успеют. Если вышлешь проводников и заводных — быстрее выйдет.

— Вышлю. Кондрат, — князь повернулся к воеводе. — Отправь гонца во Псков. Скупайте весь строевой лес, какой найдёшь. Плачу серебром. И зерно. И соль. Всё, что можно купить — покупай, не торгуясь.

— Онуфрий... — начал было медведь, но без уверенности. Без уверенности в том, что тысяцкий сможет чем-то помешать вот этому, недавнему чужаку. Который уже видел у подножия Снятной горы новый городок. Один из всех здесь, но настолько ясно и отчётливо, что и у остальных, кажется, начинали вырисовываться нечёткие пока контуры будущего.

— Онуфрий пусть подавится. Я строю город. Тем, кто захочет присоединиться — добро пожаловать. Приму всех, без принуждения менять веру, старую на новую или наоборот. Это будет город для всех, кто хочет жить в мире и труде. А кто не хочет — пусть сидит и смотрит на тысяцкого с его ливонским серебром. И ждёт, когда с Онуфрия придут спрашивать.

В голосе его не было угрозы. Только привычная холодная, спокойная решимость. И от этого он казался ещё мощнее, чем обычно. И страшнее.

— Часть твоих людей, Тихон, мы расселим в Печорах, — продолжал князь. — Там, где было гнездо Васьки Пера. Место глухое, от чужих глаз скрытое, подступы стеречь удобно, чужих разворачивать. Или хоронить. Там же начнём готовить краски. Я их великому князю обещал уже этой зимой. Надо уважить Ярослава.

— Запасец сырья есть, — кивнул слепой. — Мои принесут. Кое-что и отец Иоасаф даст, у него, знаю, с давних времён хранятся византийские краски, ещё с тех пор, как он... ходил по рекам. Богомазов всё искал для обители, чтоб расписали стены да иконостас, и сейчас ищет. Должен дать, не мог он их продать-то!

— Да, — подтвердил игумен, появляясь из-за деревьев так же бесшумно, как до того Тихон. Дом не двинулся. Чуть раньше Лукас показал глазами на те деревья и повёл рукой, будто крестясь, предупреждая о том, что с той стороны нужно ждать монаха. А вышел вон, целый настоятель. — То, что у меня есть — твоё, княже. Правда, краски те старые, может, и не так хороши окажутся, как нынешние.

— Покажешь, — коротко бросил Доман.

Я внутри него напрягся. Краски, старые византийские иконописные пигменты. Это был мой выход, моя стихия и моё ремесло. Художник из будущего знал о нынешнем градостроительстве меньше князя-воина, и гораздо хуже представлял обустройство тысяч людей перед надвигавшимися холодами. Но я точно знал, что смогу сделать с красками и ингредиентами для их составления, чего не сможет никто в этом времени. Потому что в моей памяти были века развития химии, технологии очистки пигментов, секреты старых мастеров, утраченные и вновь открытые, до которых сейчас было ещё несколько сотен лет. Я мог не просто повторить — я мог превзойти. И то, что мы с Доманом получим от продажи этих красок, будет очень кстати при постройке города. И с Ярославом должно получиться ещё лучше: монополия на мировом рынке — очень хорошее преимущество для страны. "Только в том случае, если другие, соседние, не надумают прийти и отнять твою монополию", — рациональность Дома, разумное опасение хищника, оказалась очень кстати. Да, нужно было постараться сохранить эти знания в строжайшей тайне, пока вокруг кружились враги, католики с запада и севера, степняки с юга и востока. Если привлечь раньше времени внимание тевтонов и Орды — вариантов будет ровно два. Или тело князя будет смешивать моими руками эти краски для других. Или, что скорее всего, нас с ним обоих просто не станет. И тогда тем, кто доверил Белому Волку свои жизни и жизни своих детей, будет очень плохо.

К полудню расползлись по лагерю слухи. Бабы, что пришли с обозом из Печор, шептались на мостках, стирая в холодной воде Великой реки: «Князь-то наш город строить надумал. Зимой! Виданное ли дело?». Многие воины из Домановой стаи хмурились, но в глазах у них

загорался огонь. Строить — значит, оставаться. Остаться — значит, пускать корни. А это было то, о чём они мечтали долгие месяцы скитаний. Не яма в земле, не логово, где, конечно, тоже можно жить и растить детей. А светлый дом с подворьем, скотина, хозяйство, за которым следят жёны и старики. То, за что не страшно отдать жизнь. Как и за жоака, который всегда верен своему слову. И своей стае.

Кондрат ускакал во Псков, пообещав к вечеру вернуться с новостями. Тихон ушёл в лес. Дом махнул Лукасу, чтоб не следили за слепым стариком, не пугали без толку тех, с кем он будет передавать княжью волю. Иоасаф отправился в обитель — молиться и готовить место для будущих послушников. Очень скоро с вершины горы раздались звуки, с каким выдирают из земли вбитые столбы частокола — монастырь, разбирая и раздвигая стены, будто руки распахивал, готовясь встречать новых людей. Лукас, получив короткие распоряжения, начал собирать наших на расчистку места под будущие землянки. И под городские стены, которые должны были беречь и посад у подножья Снятной горы, и обитель на её вершине.

Дом остался один у костра. Я чувствовал его напряжение. Он думал о том, что тысяча душ — это не просто город. Это вызов. Вызов толстому Онуфрию и его торговцам, Ярославу, который пока союзник, но кто знает, что будет завтра? Тевтонам, которые уже послали своих убийц. И вызов самой зиме, которая в этих краях не прощает ошибок.

"Справимся?" — спросил я.

"Куда денемся", — ответил он мысленно. — "Другого выхода нет. Если не объединимся и не построимся сейчас — нас сомнут поодиночке. А так — у нас будет крепость, и воины, готовые защищать её, как мать — своих детей. И те, кто станет делать краски".

"Краски...", — я не удержался от усмешки. — "Ты даже не представляешь, что можно сделать с теми византийскими пигментами. Они плохо очищены, с примесями. Если я покажу, как их очистить и смешать правильно... Мы сможем продавать их втридорога! Никто не поймёт, откуда такое качество, и повторить не сможет!".

"Вот сам и займёшься. Ты — художник, ты и рисуй. А я буду строить. И стеречь".

В его словах не было ни насмешки, ни пренебрежения. Только здоровое и рациональное разделение задач. И я вдруг понял, что впервые за долгое время чувствую себя на своём месте. Не лишним, не бесполезным и бессмысленным. А нужным.

К вечеру прискакал гонец от людей воеводы из Пскова. Парнишка лет пятнадцати, бледный, запыхавшийся, с искусанными в кровь губами, со щеками, побелевшими от скачки на морозном ветру. Он упал с коня прямо в руки подбежавшим ратникам и прохрипел:

— Беда, княже! Онуфрий слух пустил: мол, литовский князь держит при себе языческую ведьму, крещение его — притворство. Люди начали коситься. Торговцы, кто посмелее, вовсе отказались чужакам древесину продавать. А кто и соглашался — цены ломают втрое против прежнего.

Доман выслушал молча. Только желваки заходили на скулах. Лукас, стоявший рядом, повёл плечами и положил ладонь на рукоять меча.

— Кондрат где? — спросил князь.

— У торгашей, — ответил гонец. — Грозится должников припомнить. Говорит, что многие ему должны, и если не продадут лес по честной цене — он с них те долги спросит. Прямо сейчас. И со всей родни их.

"Может, и сработает", — заметил я. — "Страх перед воеводой у них есть".

"Может", — согласился Доман. — "Но у жирного больше серебра, и долгов перед ним у Пскова вряд ли меньше. А если торговцы сейчас против воеводы попрут — город меня же вызовет, чтоб вразумил старого. Не вовремя это нам".

Из леса, как всегда бесшумно, появился Тихон. Следом за ним — двое незнакомых мужиков, крепких, с дочерна загорелыми обветренными лицами и умными, цепкими глазами. Один плечистый, никак не меньше Кондрата, второй пониже, но жилистый, как плетёная верёвка.

— Вот, княже, — сказал слепой старик. — Это Ждан и Тягун. Братья. Они старшие над плотниками и рудознатцами. Они приведут первую партию людей, и они знают, где взять лес строевой.

— Где? — резко спросил Доман.

— По реке, — глухо ответил тот, кого назвали Жданом. — Выше по Великой, десятка два вёрст всего. Там бурелом ещё с весны лежит, сбсны — одна к одной, сухие — аж звенят. Землица там, вроде, Святославова была, а ему до леса дела сроду никакого не было. Если успеть до ледостава — плотами сплавим. И не надо торгашам кланяться.

— А люди? — уточнил князь. — Успеют до морозов?

— Успеют, — кивнул жилистый Тягун. — Твоим словом Тихон уже лошадок отправил, а мы своих поторопили. За три седмицы управимся — землянки выроем, очаги сложим, лес подготовим. Только, княже... — он замялся.

— Говори.

— Четыре сотни душ — это не хутор, не сельцо малое. Не побоятся ли во Пскове, что ты такую силу под боком растишь? Не нагрянут ли?

Доман долго молчал. Потом посмотрел на Тихона, на Лукаса, на братьев-мастеров.

— Пусть боятся. Мы не нападаем, мы строим и защищаем то, что сами строим. А кто захочет проверить нашу силу — пусть приходит. Мы встретим.

В его голосе не было бахвальства. Только спокойная, уверенная готовность. И от этого братья переглянулись и одновременно кивнули — видимо, слышали то, что хотели.

Вечером Доман поднялся в обитель. Иоасаф ждал его в той самой келье, где смотрели вчера на три старых доски. Они так и лежали на холсте посреди стола. Но сегодня рядом с ними появились новые предметы: несколько небольших глиняных горшочков, закрытых восковыми пробками, свёртки из промасленной кожи, кисти из беличьих хвостов и странный сосуд из тёмного стекла или гладкого камня с притёртой крышкой.

— Вот, — сказал игумен, указывая на горшочки. — Краски византийские. Хранил, как умел — может, и испортились уже.

Я потянулся к ним руками Домана. Открыл первый горшочек. Там была киноварь, тяжёлая, яркая, но... грязная. С примесями песка и каких-то тёмных вкраплений. Во втором — лазурит. Толчёный, но недостаточно тонко. Частицы крупные, неровные. В третьем — глауконит. Местный, не византийский, но тоже с примесями глины и кварца.

"Всё это можно очистить", — подумал я. — "Отмучить в воде, профильтровать через льняную ткань, растереть с яичным желтком... Качество будет в разы выше. А если ещё и смешать правильно — можно получить оттенки, которых здесь никто не видел".

— Что скажешь, княже? — с тревогой спросил Иоасаф.

— Это можно исправить, — ответил Доман моими словами. — Но нужно время. И руки. И кое-какие приспособления.

Он взял одну из досок — ту, с женским ликом. Осторожно, бережно положил на стол. Потом, повинувшись моему внутреннему порыву, взял странный стеклянный сосуд.

— Что внутри?

— Масло. Льняное, отстоянное, с добавлением мастики и свинцовых белил. Продали как древний тайный состав, говорят, им можно смывать старую олифу, не повреждая красок, — с готовностью рассказал настоятель.

Я мысленно ахнул. Это же прототип реставрационного состава! Грубый, несовершенный, но работающий! Откуда бывший речной пират добыл такое? "Говорят" — значит, есть кто-то, знающий эти тайны? А, может, не только эти?

— Откуда это у тебя, отче? — спросил Доман.

— От старого иконописца, — неохотно ответил Иоасаф. — Он умирал у меня на руках, после одного... похода. И перед смертью передал свои секреты. Я не всё понял тогда. Но запомнил, вроде, крепко. Один из лучших псковских мастеров его слова подтвердил.

Доман кивнул и открыл сосуд. Осторожно, кончиком кисти, нанёс немного масла на край доски, туда, где тёмная олифа скрывала древний рисунок. Подождал. Потом, едва касаясь, начал снимать размягчившийся слой.

Я работал им и вместе с ним. Мои знания, его руки раскрывали лик. Медленно, миллиметр за миллиметром. Под олифой, под поздними записями, проступали сперва ладони. Затем плечо. А после и глаза. Серо-голубые, с серебристыми искрами. Глаза, которые смотрели в самую душу. Глаза Марьи-Заряницы.

Когда последний фрагмент старого лака был снят, в келье повисла тишина. Иоасаф стоял, прижав руки к груди, и по его щекам текли слёзы. Тихон, зашедший незаметно и вставший у двери, дышал тяжело, будто версту пробежал. Не видя, разумеется, происходящего, но, похоже, как-то иначе чуя звеневшее вокруг напряжение.

— Господи... — прошептал игумен. — Ты... ты вернул Её, княже. Ты вдохнул жизнь в давно мёртвый лик.

Он шагнул вперёд и, прежде чем Доман успел остановить его, упал на колени и припал губами к княжеской руке.

— Встань, отче, — сказал Доман, отнимая руку. — Не я это сделал. Это через меня будто прошло, но не я.

— Ангел Господень, — прошептал Иоасаф. — Сам Господь твоей рукой водил, не иначе! Сподобил чудо настоящее увидеть наяву.

Доман промолчал. Только бросил быстрый взгляд на Тихона. Слепой старик едва заметно улыбнулся и кивнул. Он понимал, пусть и не видя. И он один знал, что ангелы тут ни при чём.

Поздно вечером, когда приехал снова из Пскова Кондрат — злой, уставший, но с обещанием, что кое-кто из должников всё же продаст лес "по старой дружбе", — Доман и Лукас спускались из обители в лагерь. Медведь-воевода остался ночевать у настоятеля, пообещав, что к утру будут первые возчики с брёвнами. Дом присмотрелся к его чуть скособоченной фигуре, медленно шедшей к обители. Подумав о том, что надо бы не забыть Виту сказать, чтоб глянул — воинский лекарь знал не только свежие боевые раны, но и те хвори, которые они, случалось, приносили за собой через несколько лет.

Луна ещё не взошла, и лес был чёрным, густым, полным шорохов. Лукас шагал чуть позади, привычно оглядываясь и прислушиваясь. Доман думал о своём — о предстоящей стройке, о красках, о тысяче голодных ртов, которые совсем скоро придут под его руку. И о тех, что уже были здесь.

Они уже подходили к крайним землянкам, когда князь вдруг остановился. Лукас замер тоже, положив руку на меч.

— Что, княже?

Дом не ответил. Он смотрел на землянку Ингеборги. Дверь была приоткрыта. Не распахнута настежь, не заперта наглухо, как обычно, а именно приоткрыта — на ладонь, не больше. Из щели падал слабый, тёплый свет.

— Иди, — сказал Доман Лукасу. — Я позже.

Воевода помедлил мгновение, потом кивнул и растворился в темноте, не скрипнув сапогами, не шелохнув ни единой голой ветки.

Князь подошёл к двери. Остановился. Поднял руку и тихо, одними костяшками, стукнул по деревянному косяку.

— Входи, — раздался изнутри голос. Тихий, усталый, но без страха.

Он склонился, протискиваясь в низкий проём, и вошёл, притворив за собой дверь. Которая внезапно закрылась почти беззвучно и гораздо легче, не то, что вчера. Песок, что скрипел под столбом и делал дверь тяжёлой и неповоротливой, был убран. Или заменён на что-то другое. На что — я не успел понять.

Потому что в землянке, в неверном свете трёх свечей, сидела она. Ингеборга из Висбю, Белая Горюха, ведьма из старых. С распущенными платиновыми волосами, дававшими отблеск, так похожий на серебристый нимб стоявшей у изголовья иконы Белой Девы. Хранительница. Убийца и диверсант в одной длинной рубахе, босая. И смотрела на него. Зелёными глазами, в которых шевелились блики свечного пламени. Наверное, свечного.

— Я ждала тебя, — сказала она просто.

И Доман, Белый Волк, князь-воин, убивший короля и потерявший жену, не нашёл слов, чтобы ответить ей. Да и не искал, пожалуй. Он просто сел на край грубого ложа, положил руки на колени и стал смотреть на танец маленьких огоньков над льняными фитильками. Вместе с ней. Молча. И в этом молчании было больше слов, чем в иной долгой беседе.

Где-то далеко, в чёрном лесу, снова прокричал сын. Теперь его стон не казался зловещим или пугавшим. Скорее — печальным. Как вздох того, кто тоже когда-то ждал. Но дождался ли?

## Глава 4. Печорские красоты и краски

Свечи догорели до половины. Огарки покрылись неровными наплывами, и свет в землянке стал глубже, рыжее, будто старый мёд. Пламя вздрагивало от невидимых токов воздуха, сквозивших через плотно, вроде бы, прижатую дверь и очажный продух, задвинутый плетёной крышкой, и тени на бревенчатых и земляных стенах шевелились, как живые. Пахло воском, сухими травами, развешанными под потолком, и едва уловимо — тысячелистником.

Мы сидели на узкой лежанке, укрывшись одним плащом. Тяжелым, пахшим дымом, конским потом и осенней прелью, подбитым мехом росوماхи. Плащ был теплым не столько от шерсти, сколько от накопленного за день тепла двух тел. Инга сидела, подобрала ноги и положив голову на широкое плечо князя. Ее платиновые волосы рассыпались по темной шерсти плаща, как лунный свет по ночному лесу. Она молчала. Он тоже. Молчал и я. Три души на двоих. Три беглеца, три неприкаянных осколка разных миров, сошедшиеся здесь, в тесной землянке под старой горой, на краю дикого поля. И каждый думал о своем.

Доман смотрел на танец огня, и мысли его текли медленно, тяжело, как воды Виешы и Вижуоны, рек, на которых стояла его родная Утена. Он думал о том, что обещал этим людям. Своей стае, Тихону и его хранителям, игумену Иоасафу. И теперь — Ингеборге. Обещал защиту, кров и будущее. А будущее в этих краях, под этим низким осенним небом, могло обеспечить только одно: строительство. Не дома, не хутора, а мощного, основательного города. Крепости, способной укрыть всех, кто придет под его руку.

Он видел этот город. Не так, как я — смутными образами из будущего, где на этих холмах стояли каменные башни и тянулись к Солнцу золотые купола. Он видел его своим, особым, внутренним зрением. Не глазами — волей. Высокие стены из земляных валов и дубовых срубов. Ряды землянок, уходящих под снег, тёплых, полных жизни. Дымы над крышами, убегающие в серое небо. Стук топоров. Ржание коней. Детский смех. Свой, настоящий, живой мир, который он вырвет у этой скупой и холодной земли, ещё недавно бывшей ему чужой.

Он думал о том, как много всего надо успеть. Построить город, а не дом. Свести целый лес, а не посадить одно дерево. Выкорчевать пни, отогреть землю кострами, вырыть рвы, насыпать валы. Прокормить в зиму полторы тысячи голодных ртов. И одновременно — быть готовым в любой миг сменить плотницкий топор на боевой меч. Потому что враги не ждут. Ливонцы, тевтоны, люди Онуфрия — все следят, ищут слабину, ждут удобного момента. Чтобы короткий взмах двух ножей распахнул горло в двух местах, обрывая жизнь легко и почти беззвучно.

И ещё он думал о тех, кого больше нет. О двух сыновьях, умерших в первые дни после родов, так и не успевших получить имена. О третьем, не успевшем родиться. О Деване, его богине, чья душа ушла в небо над Жеравьей горой, оставив в его душе незаживающую рану. И подкидыша из невозможно далёкого будущего. Он привык считать это концом. Концом его рода, концом его надежды на простое человеческое счастье. Но сегодня, здесь, в этой тесной землянке, глядя на живой огонь и чувствуя тепло чужого плеча, князь-беглец вдруг понял: ничто не может быть концом. Пока бьётся сердце, пока оно гонит кровь по телу, а разум обладает той яркой, неукротимой волей, что поднимает не только хозяина тела, но и всех, кто рядом с ним. Пока жив — ничего не кончено.

Я, Тимофей Позёмов, тот самый подкидыш, художник-реставратор, думал о другом. Я смотрел на пламя свечи и видел не просто огонь. Я видел краску старинной иконы. Аурипигмент, реальгар, "золотой мышьяк". Ядовитый, капризный, дающий тот самый неповторимый, холодновато-лимонный оттенок, который так ценили византийские иконописцы. Я вспоминал,

как в одной из лабораторий ВХНРЦ имени Грабаря мы с Севой Васильевичем спорили о технологии его очистки. Он, старый практик, доверял рукам и глазу. Я, молодой тогда ещё специалист, тыкал пальцем в спектрограммы и химические формулы. И Учитель, помню, посмотрел на меня, усмехнулся и сказал: "Ты, Тимоха, головой-то думаешь, спору нет. Но пока на других будешь оглядываться — они вперёд уйдут, обгонят тебя. По тебе же и прошагают, даже не заметят. Живи своим умом!".

Тогда я не понял, обиделся даже. Сейчас, спустя семь с лишним веков от того разговора, но только в обратную сторону, до меня наконец дошло. Я всю жизнь был хорошим учеником. Старательным, внимательным, памятьливым. Но я всегда оглядывался. На Учителя, на коллег, на авторитеты, на принятые методики. Я боялся ошибиться, отступить от канона, сделать что-то не так. И этот страх сковывал меня, не давал дышать полной грудью. Он же, в конце концов, и вытолкнул меня из той жизни, где я никому не был нужен по-настоящему.

А здесь, в этом диком, жестоком, но честном времени, оглядываться было не на кого. Некому было подсказать, поправить, одобрить или осудить. Здесь были только я сам, мои знания, мои руки и моя голова. И Доман, князь-воин, который верил в меня больше, чем я сам когда-либо. И эта вера, эта необходимость быть полезным не в абстрактном "будущем", а здесь и сейчас, для живых людей, которые смотрят на тебя с надеждой, — она разбудила во мне что-то, спавшее глубоким сном. Мастера. Творца, как ни пафосно это звучало. Не ремесленника, повторяющего чужие образцы, а того, кто создаёт новое.

Получаться стало только здесь, в крошечной тьме средневековья. Видимо, правы были те, кто говорил, что мои знания, профессия и навыки слишком несвоевременны для двадцать первого века. Слишком медленны, слишком рукотворны, слишком человечны для эпохи машин и цифры. Как и я сам. Я опоздал родиться на семьсот лет. Или, наоборот, пришел точно в срок, чтобы успеть нагнать упущенное.

О чём думала она, Ингеборга из Висбю, Белая Горюха, ведьма из старых, мы не знали. И тревожить тишину словами один смущался, а второй не хотел. И я с удивлением понял, что не могу разобрать: кто из нас смущается, а кто не хочет нарушать этот хрупкий, как первый лёд, покой. Наши мысли, наши чувства так переплелись в этом общем теле, что граница между "я" и "он" стала почти неразличимой. Мы оба смотрели на неё. Оба чувствовали её тепло. И оба хотели, чтобы этот момент длился как можно дольше.

А потом Доман, повинувшись какому-то древнему, простому и безошибочному инстинкту, осторожно, почти невесомо, поднял руку и обнял её за плечи. Не привлекая, не принуждая — просто давая понять: "Я здесь. Я с тобой". Инга не вздрогнула, не напряглась. Она лишь глубоко, прерывисто вздохнула и ещё плотнее прижалась к его плечу, устроив белую голову так, будто всю жизнь только здесь и спала. Её рука, узкая, с длинными пальцами, на которой уже почти не видно было ссадин от рогаток, легла на его широкую грудь, туда, где под поддошпешником, рубахой и кожей билось наше общее сердце.

И легче стало всем. Сразу. Как будто отпустила какая-то пружина, сжимавшая нас изнутри долгие месяцы. Как будто мы наконец-то перестали бежать и просто остановились. Вдохнули. Выдохнули. И поняли, что живы.

Утро началось резко, по-военному. Едва в узкой полоске почти полностью закрытого очажного дымогона забрезжил серый рассвет, князь уже был на ногах. Инга ещё спала, свернувшись калачиком под росомашьим плащом, и лицо её, лишённое привычной настороженной или надменной маски, казалось совсем юным, почти детским. Доман постоял над ней мгновение, глядя, как вздрагивают во сне её длинные тёмные ресницы, и бесшумно вышел в холодную, колючую морось.

Лагерь просыпался. У костров уже гремели котлами кашевары, пахло дымом и распаренным зерном со шкварками. Лукас, вечный и неизменный, ждал князя с кружкой горячего звара. Рядом топтался заспанный парнишка-голец от Кондрата.

Воевода занемог. Вит, осмотрев его ещё затемно, вынес вердикт: прострел. Мышцы на спине свело так, что медведь-воевода ни вздохнуть, ни охнуть не мог без боли. Лекарь колдовал над ним вовсю: растирал какими-то жгучими мазями, ставил горячие камни, поил отварами, от которых по всей округе разносился горький дух. О том, чтобы скакать куда-то в такую погоду с больной спиной, не могло быть и речи.

— Добро, — решил князь, выслушав доклад. — Значит, управимся без него. Лукас, со мной поедешь. Нага и Аля возьмем. Тихона кликни. И этих... Ждана с Тягуном. Пусть собираются.

Воевода, узнав, что князь без него едет в Печоры, дёрнулся было — хотел, видно, тоже в седло, но грозный окрик Вита и собственный стон, сорвавшийся с губ при резком движении, убедили его остаться.

До места добрались к полудню следующего дня. Знакомая низина, где ещё так недавно лежали тела разбойников, изменилась. Дым от костров, горевших теперь постоянно, разогнал вековую сырость. Кое-где уже чернели свежие заплаты земли — первые землянки. Стучали топоры. Видно было, как по склонам, где раньше таились волчьи ямы и самострельные растяжки, теперь сновали люди — рубили кустарник, корчевали пни, таскали камни.

Первой целью поездки был разговор с игуменом. Иоасафа, выбравшегося из обители раньше нас, нашли на вершине западного склона. Он стоял, опершись на посох, и смотрел, как внизу, у ручья, мужики Тягуна копали глину. Рядом с ним, неожиданно, оказался ещё один старик, невысокий, сухонький, с длинной седой бородой, в заляпанном красками подряснике и с не по-стариковски зоркими, ясными глазами. На поясе у него висел кожаный узкий кошель — пенал с кистями.

— Здрав будь, княже, — поклонился игумен. — А вот и Лука, богомаз. Во Пскове наипервейший, да и в Новгороде лучше него помучаешься искать. О нём я тебе сказывал.

Старый иконописец поклонился низко, по-монашески, но взгляд его был цепким, оценивающим.

— Поздорову, княже, — произнес он глуховато. — Говорят, ты чудеса творишь. Краски мёртвые живыми делаешь.

— Не я, — коротко ответил Доман. — Всё милости Божией.

— По милости, — повторил Лука, не сводя с него глаз. — А ещё говорят, будто ты с язычниками в ладу живешь. Чуть ли не под одной крышей. И не гнушаешься их.

— Не гнушаюсь, — спокойно подтвердил князь. — Они живые люди. Рукастые, работающие. Веруют по-своему, но землю любят и детей растят так же, как и мы. Бог един, Лука. Имена разные, а суть одна. Я так думаю. И тебе того же советую.

Иоасаф вздохнул и перекрестился. Лука промолчал, но в глазах его мелькнуло что-то похожее на одобрение.

— Пошли, отцы, спустимся да глянем, — продолжал Доман, ступая по склону вниз, — чем земляца порадует. Та, что Старых Богов помнит, Нового знает, а лес, зверя, зерно и травы даёт всем и каждому одинаково.

Настоятель с иконописцем переглянулись и шагнули следом.

Тягун, шедший от группы своих "шахтёров" вывалил содержимое мешка прямо на серо-жёлтую сухую траву. Комья глины разных оттенков: от практически белой, жирной, до тёмно-рыжей, почти коричневой. Рядом легли несколько камней — охристых, зеленоватых, с синими

прожилками. Я внутри князя встрепенулся. Вот оно, моё! Я потянулся его руками к этим невзрачным комьям.

— Это, — заговорил я устами Тимофея Романовича, поднимая кусок ярко-желтой глины, — охра. Хорошая, жирная. Если перетереть и отмучить — даст чистый, тёплый тон. А вот эта, рыжая — жжёная охра. Для санкиря сгодится, каким на иконах по холсту первым пишут, тон кладут. Это, — я взял зеленоватый камень, — глауконит. Его здесь много, по берегам рек и ручьев. Если хорошо растолочь и промыть — будет рефть, которая на свету переливается, как павлиний глаз. Редкий камень, а здесь в избытке земляца дала. Начнёшь, Лука, с учениками покровы им писать святым да угодникам — через сотни лет такие иконы начнут "псковским письмом" величать, вас добрым словом да молитвой поминая.

Тягун слушал, открыв рот. Старый Лука подался вперед, забыв о своем посохе. "Полегче про века-то", — вернул меня в реальность Доман.

— А это? — он ткнул пальцем в камень с синими прожилками.

— Азурит. Медная синь, — ответил я, чувствуя, как внутри разливается знакомый, почти забытый азарт исследователя. — Но его здесь мало, пласт, видать, тонкий. Зато, — я поднял другой камень, тяжёлый, с металлическим блеском, — вот этого побогаче будет, поинтереснее. Этот медным колчеданом зовётся. Если его обжечь особым образом, с уксусом и мёдом, можно получить очень яркую, звонкую весеннюю зелень. Ярь-медянку. Византийцы её за золото в три-четыре веса купят, а то и дороже.

Я говорил и говорил, перебирая камни и глины. Называл места, где, по моим воспоминаниям из геологических отчётов и исторических справок, должны быть выходы тех или иных пород. Тягун только кивал, изумлённо бормоча:

— Так и есть, княже... Так и есть... Старики-то наши, сету, про те места знали. Только называли по-своему, а ты — по-учёному как-то, знать, по-городскому...

Лука, старый богомаз, слушал, как завороченный. Он, всю жизнь покупавший краски у заезжих купцов по бешеным ценам, вдруг понял, что всё это богатство лежало у него под ногами. Нужно было только знать, где искать и как готовить.

И тут князь, будто повинувшись какому-то своему, особому наитию, какому-то смутному для меня воспоминанию о заначке Манта, сделал шаг в сторону. Туда, где под нависшим козырьком песчаника чернел вход в одну из малых пещер, не тронутую зачисткой.

— Стойте здесь, — велел он глухо.

Все замерли. Даже Тихон, стоявший чуть поодаль и, казалось, дремавший, поднял голову, пригнувшись.

Доман подошел к скале. Поднял руку, провел ладонью по шершавому, холодному камню. Внутри меня что-то напряглось до предела. Он знал. Он точно знал, что делает.

— Мать-Земля, — произнес он громко, так, чтобы слышали все. — Благодарю тебя от себя и от каждого из своих людей. Ты дала нам кров и пищу. Ты дала глину, из которой мы сделаем горшки и миски. Сделаем краски, чтобы продать на торгу и купить то, что положить в те горшки и миски. Но на торгу люди, а им злата блеск в чужих руках разум застит. Нет у меня веры таким. Тебе одной есть, Мать-Земля. Дай то, что поможет нам пережить зиму. Прокормить детей. Согреть стариков.

И с этими словами он резко, с силой, топнул ногой. Каблук сапога звонко ударил в каменную плиту у самого входа.

И Земля ответила Белому Волку. Ангелу. Тому, кто видел сокровище.

Казалось, какой-то гул прокатился под ногами. Где-то в глубине пещеры что-то ухнуло, осыпалось. А прямо перед князем пласт слежавшегося песка и мелкого камня вдруг просел и с

шорохом ухнул вниз, открывая черный провал. Из провала пахло сухим, спертым воздухом, пылью и — явственно, неоспоримо — металлом.

Тишина, наступившая вслед за этим, была оглушительной. Казалось, даже птицы в лесу смолкли.

Лукас высек огонь, запалил факел и подал князю, не дрогнув, не моргнув, так, будто Доман при нём каждый день по десятку раз говорил с Богами и Матерью-Землёй, а от его топота регулярно падали горы. Хотя бы частично, как только что. Дом, не говоря ни слова, шагнул в провал. За ним, крестясь и шепча молитвы, полезли остальные.

То, что они увидели внизу, в небольшой, явно рукотворной камере, заставило их замереть. Вдоль стен, на грубых деревянных полках, стояли кованые сундучки и ларцы. А на полу, прямо на утопанной глине, грудой лежали золотые и серебряные вещи. Чаши, блюда, гривны, слитки, россыпи монет. Богатство, которого хватило бы на постройку не одного города.

— Чудо... Ещё одно! Промысел Господень! — шептал Иоасаф, падая на колени.

— Перунова милость... — выдохнул Тихон, и его незрячие глаза, казалось, видели это сияние.

Старый Лука молчал, и по его щекам текли слезы. Как и по лицу Тягуна, рухнувшего на колени рядом с православным настоятелем, но вряд ли обратив внимание на подобное соседство.

Доман обвел всех взглядом, привычно-равнодушным и спокойным. Он не стал говорить, что эта "милость" — всего лишь часть добычи банды Васьки Пера, заботливо спрятанная здесь Мантом по его, князьему, приказу. И что в стену с этой стороны треснул кувалдой Аль, стоявший теперь рядом, словно зашёл в пещеру после остальных, а не подобрался из второго поверха-подземной галереи заранее. О том, что Аль нашёл щёлочку, в которую просунул вересковый пруттик, чтобы князю было видно, где топтать, Дом тоже не говорил. Добыча лежала здесь, чтобы в нужный момент извлечь, как козырь из рукава. И удачнее этого момента было трудно даже представить.

— Это дар, — произнес он ровно. — Он принадлежит не мне, а всем, кто здесь стоит. Всем, кто будет жить и работать на этой земле. Делите.

Иоасаф и Тихон переглянулись. Монах и язычник. Хранитель новой веры и хранитель старой. Они поняли друг друга без слов.

— Язычникам больше, — сказал игумен твердо. — У них дети, их кормить. А нам сам Бог терпеть велел.

— Монахам краски и золото на оклады икон, — добавил Тихон. — Им Бога славить, нам — землю пахать и мечи ковать.

И они поделили. По чести, по числу живых людей. Не мерясь важностью Богов,

А потом старый Лука, копавшийся в груде окладов, вдруг ахнул и вытащил из вороха тусклого серебра небольшую медную иконку. Потемневшую, с оббитыми краями. На ней едва угадывался лик — худой, аскетичный старец с длинной бородой и кистью в руке. Святой Лука, пишущий образ Богородицы.

— Это... это как же? Прямо как в руку прыгнула сама, — прошептал он, глядя на Домана.

— Бери, — кивнул князь. — Твой же тезка. И ремесло у вас с ним одно. Не иначе, сам Бог знак подал.

Старик прижал иконку к груди и заплакал, как-то тяжело, навзрыд. А потом вытер лицо рукавом, выпрямился и сказал твердо, глядя князю прямо в глаза:

— Клянусь: никуда я с этого места не сойду. И учеников своих отсюда не выпущу. Пока не научатся всему, что ты, княже, покажешь, пока не превзойдут лучших мастеров Византии. Чтобы о псковских, о печорских, о русских красках и иконах по всему миру слава пошла!

Доман нахмурился.

— Не надо славы, мастер Лука. Пока не надо. Говорить никому ничего нельзя. Ни единой живой душе. Слава пойдет тогда, когда Боги... когда Бог повелит. Нам в Его дела да задумки лезть — грех.

— Не скажем, — твердо ответил за всех Тихон. — Ни словом, ни намеком. Ни с кем, кроме тех, на кого сам укажешь, ни говорить, ни видеться не станем. Обеты примем.

Игумен и Лука молча склонили головы, соглашаясь, подтверждая клятву, данную ими обоими. Кивнул и Белый Волк, показывая, что клятвы православного настоятеля и лучшего иконописца принял.

Потом потянулись дни, наполненные работой. Тягун и его жилистые парни, средневековые шахтёры, приносили все новые и новые образцы пород. Я, пользуясь руками и голосом Домана, показывал им, что и как нужно делать. Как дробить камень, не превращая его в пыль. Как отмучивать глину в проточной воде, чтобы отделять лёгкие примеси. Как смешивать пигменты с яичным желтком и несколькими каплями пива, чтобы получить ту самую, вечную температуру. Я чертил на бересте схему простейшего бура, с помощью которого можно было бы брать пробы с глубины, определяя мощность пласта, не взрывая деревянными лопатами ямы, куда и корова бы провалилась, перекидывая тонны земли. Радовался про себя, что началось всё с "чуда обретения", когда "Мать-Земля на зов княжий сокровища явила" — иначе меня, с моими знаниями о химии и геологии, точно приняли бы за колдуна. А так — смотрели, как на святого. Внимали, как первоклашки, кивая и запоминая. И это было странное, новое, но очень приятное чувство.

Через две недели наша "поисковая партия" вернулась к Снятной горе. В Печорах остались старый Лука с тремя послушниками-учениками и первые семьи язычников, добравшихся с Тихоновыми проводниками. Низина, бывшая разбойничьим гнездом, ожила. Над склонами курились дымки. Слышался перестук топоров, скрип воротов и главное — детский смех и протяжные, переливчатые песни сету, которые пели бабы, стирая бельё в ручье, мешая варево в котлах, плетя циновки и корзины. Страх и боль ушли с этого места. И на смену им пришла жизнь.

Обо всем этом Доман рассказывал вечером, сидя за грубо сбитым, но крепким столом. В своем тереме. Терем был невелик, на три комнаты, сложенный из толстых сосновых бревен, проконопаченных мхом. Но он был. Плотник Ждан со своими мужиками управился за две недели, пока мы пропадали в Печорах. Сложили добротню, на совесть, а что снова подконопатить придётся, как осядут и усохнут за зиму брёвна — так это дело понятное, обычное, привычное. В очаге гудел огонь. На столе стояла простая глиняная посуда с едой и парой кувшинов — с пивом и взваром, которые с поклонами и добрыми словами принесли на новоселье князю его люди. Его стая. Он принимал нехитрые подарки с поклоном и от сердца благодарил каждого. И только я знал, находясь внутри него, сколько сил у воина уходило на то, чтобы не перехватывало голос, не моргать лишней раз глазами, поднимая голову к Небу. Благодаря Его и закатывая обратно слёзы, не свойственные воину и вождю.

За столом сидели трое: князь, Кондрат, уже почти оправившийся от приступа радикулита, и Инга. Она снова была в своем зелёном платье, с волосами, убранными в простую косу. И смотрела на Домана так, как никогда раньше. Спокойно, тепло. По-домашнему.

Доман рассказывал о Печорах. О том, как ожила могила разбойников, как пропали страх и боль с того места, где теперь жили люди и росли дети. Кондрат слушал, оглаживая бороду, и в его маленьких, глубоко сидевших глазах светилось что-то, похожее на благоговение.

— Ты, княже, не только мечом воюешь, — произнес он наконец, когда Доман замолчал. — Ты иначе воюешь, страшнее. Даже когда, кажется, вовсе того в мыслях не имеешь. Твои люди, даже те, кто без году неделя как твои, готовы жилы рвать себе и противнику. Костями лечь готовы. Я такого не видал. Даже у Александра Ярославича, вечная ему память, не так было. Там за победой, за славой, за добычей шли. А тут... за чем?

— Дурной пример заразителен, — спокойно ответил Доман, отпивая взвара. — Сам так живу. Своих не бросаю, слово держу, за правду стою, как могу, как умею. Вот и народ такой же подобрался. Ты, Кондрат. Иоасаф. Тихон. Мы же все в одну сторону глядим. И в той стороне, — он обвел рукой вокруг, — вон, теремок вырос. Завтра городок вырастет. Послезавтра — целый край. Где не за страх и чужое серебро работают, а за совесть, за веру, надежду и любовь. Как в Писании сказано.

Воевода вдруг шумно, со всхлипом, втянул воздух. Глаза его подозрительно заблестели. Он резко встал, шагнул к князю, сгрёб его в свои медвежьи объятия, крепко прижал к широкой груди, так, что рёбра хрустнули, и тут же отпустил, отвернувшись к двери.

— Пойду я... это... дозоры проверю, — буркнул он сдавленно и, не оборачиваясь, шагнул за порог, в темноту.

Мы остались вдвоем. Инга смотрела на закрывшуюся дверь, и на губах её играла мягкая, понимающая улыбка, без привычных раньше издёвки или презрения. Потом и она легко поднялась.

— Пойду и я. Поздно уже.

— Останься, — сказал Доман. Не приказал, не попросил. Просто сказал. — Прими дар.

Белая Горюха замерла, глядя на него. Дом встал, подошёл к стоявшему в углу сундуку, поднял крышку и достал что-то, завернутое в чистый льняной плат. И протянул ей, не разворачивая.

— Что это? — спросила она, не торопясь открывать.

— Это было в Печорах. В тот день, когда Земля... ответила. — Он не стал уточнять, что "ответила" она задолго до того, как он топнул ногой, это было неважно. Не переспрашивала и она, зная, скорее всего, сколько добычи мог взять с Пера, Ножа и Топора Доман. И что те подводы, что приехали во Псков, вмещали едва ли четверть. — Я стоял на вершине холма, над западным склоном. Смотрел, как горели костры внизу, как мужики рыли землю, как бабы носили воду. И тут подошла старушка. Маленькая, сгорбленная, в тёмном платье. Да так подошла, что я, воин, не услышал и не почувал. Лукас, что рядом стоял, меч вскинул, а она отмахнулась от него, как от овода, буркнув что-то сердито по-своему. И он замер. И так столбом и стоял, пока она со мной говорила.

— Что она тебе сказала? — прошептала Инга, заметно побледнев.

— Сказала: "Не ошибся Тихомир, которого вы Тихоном зовете. Тебя и ждали. Храни себя, Белый Волк, храни свою землю и людей на ней. Мы поможем. А северянке своей непоседливой вот это передай. Да скажи: она пусть хранить бросает. Пора уж ей и беречь". И дала мне это.

Она дрожащими руками развернула плат. В свёртке оказался серебряный диск, тяжёлый, кованный, размером с большую обеденную тарелку. На одной его стороне, в искусном рельефе, была изображена женщина в длинных одеждах. Лик ее был строг и спокоен, а за спиной расходились лучами тончайшие линии. Белая Дева. На другой стороне была, кажется, она же, но другая. В узорчатых одеждах, похожих на языки пламени. И на руках у нее был ребенок. Живой, смеющийся, тянущий к ней пухлые ручонки. Марья-Заряница. Мать.

Ингеборга смотрела на диск, и по её лицу текли слезы. Крупные, светлые, как роса на утренней траве. Она не рыдала, не всхлипывала. Она плакала беззвучно, прижимая холодное серебро к груди, туда, где билось сердце.

— Берегиня... — прошептала она наконец, и голос ее прерывался. — Триста лет... В моём роду триста лет не было берегинь. Последней была прапрабабка. А теперь вот я...

Доман молчал. Он не понимал до конца, что значит это слово для нее. Но видел эти слёзы и чувствовал, что произошло что-то очень важное. Что-то, что меняло и судьбу Ингеборги из Висбю, и, возможно, его собственную.

Я же, глядя на серебряный диск в белых руках, думал о другом. О том, что, судя по стилю чеканки, это не прошлый и не позапрошлый, десятый, век. Это старше, и гораздо старше. И ещё я думал о старухе, которая подошла ко князю-воину так, что он её не услышал. Кто она? Одна из тех, кого Тихон назвал «хранителями»? Или кто-то... больший? Ответа не было. Была только ночь за окном, потрескивание дров в очаге и тихие, светлые слезы женщины, которая перестала быть хранительницей и стала Берегиней.

Она подняла на него глаза. Сияющие, полные яркой весенней зелени, как первоцветы в росе слёз. И в них было столько всего — благодарности, нежности, надежды, — что у Домана едва не перехватило дыхание.

— Я останусь, — сказала она просто. — Если ты не прогонишь.

Он не прогнал. Дом шагнул к ней, обнял и прижал к себе. Крепко, но бережно. Так, как умеют обнимать только те, кто уже терял и знает цену тому, что имеет сейчас.

А за узким окном терема, над спящим лагерем, над тёмным лесом, над скованной первым льдом Великой, медленно, торжественно разгоралась новая заря. Заря нового дня. Первого дня их общей жизни.

## Глава 5. Земля и воля

Земля была тяжёлой. Не той, что рассыпается в пальцах сухим прахом на южных холмах, не той, что мягко пружинит под ногой в сосновом бору. Здесь, под Снятной горой, на северном склоне, противоположном от Великой реки, она была глинистой, плотной, перемешанной с мелкими камнями и корнями вековых деревьев. Земля словно держалась сама за себя всеми силами, не желая расступаться под железом заступов и мотыг. Она не отдавала тепла, накопленного за короткое лето, дышала в лицо сырой холодной испариной, и каждый удар деревянной лопаты, окованной по краю полосой негодного для мечей железа, отзывался в натруженных плечах и пояснице глухой, тянущей болью.

Доман работал наравне со всеми. Без княжеских шапки и плаща-корзна, в простой холщовой рубахе с закатанными по локоть рукавами, в старых кожаных портах, перепачканных глиной и землёй до такой степени, что и не разобрать было их изначального цвета. Пот, стекавший по лбу, чтобы он не разъедал глаза, не перемешивался с земляной пылью, оставляя на лице грязные потёки, собирала широкая вышитая тесёмка, повязанная Ингеборгой. Он не утирался — уже привык. Когда работаешь, некогда отвлекаться на мелочи. А работал бывший беглец так, что и опытные землекопы-рудознатцы Тягуна, казалось, дивились про себя князьему упорству.

Я смотрел его глазами на эту картину и невольно сравнивал. Там, в моём времени, на этом месте будет псковский пригород: частный сектор, отдалённый микрорайон, упиравшийся в северный обход Пскова. Ухоженные набережные, высокие каменные дома, асфальт и фонари будут южнее и восточнее. Люди здесь будут так же копать в огородах, держать кур и скотину, не думая о том, что под толщей вековых напластований покоится вот эта самая глина, перемешанная с потом и кровью тех, кто пришёл сюда в начале. Кто не копал, а вгрызался, не жил, а выживал. Но это сравнение странным образом не угнетало реставратора, а наполняло какой-то тихой, светлой гордостью. Я был здесь именно сейчас. Я был частью этого самого *начала*.

"Странный ты, Тим", — прозвучало внутри. Доман выпрямился, переводя дух, и опёрся на черенок лопаты. — "Другие потомки, поди, гордились битвами да победами. А тебе подавай глину месить да брёвна таскать".

"Битвы и победы — это вспышки", — ответил я мысленно. — "Они как молнии: яркие, но быстро гаснут. Запоминаются только самые большие и самые страшные, от которых больше народу полегло. А вот это", — я обвёл взглядом длинный, уходящий вглубь склона ров, десятки согнутых спин, горы вынутой земли, — "это навсегда. Это основа, фундамент. То, на чём всё будет стоять. Без этого никакие победы не имеют смысла. И ты это знаешь не хуже меня".

Белый Волк не ответил. Только хмыкнул одобрительно и снова взялся за лопату. Но я чувствовал: он согласен. Именно поэтому он и стоял здесь, в грязи и поту, а не восседал в князьем тереме, принимая донесения. Ему нужно было это: физическая, изнурительная работа на пределе возможностей или даже чуть *за* этим пределом, после которой не остаётся сил ни на что, кроме как поесть и провалиться в тяжёлый сон без сновидений. Работа, которая заглушала то, что грызло его изнутри.

А тревожило князя многое. Я чувствовал это постоянно, как ноющую занозу где-то под сердцем, что шевелится, пуская волны боли, от каждого нового касания. Это был совершенно точно не страх — Доман из Утены давно отвык бояться чего бы то ни было. Это была именно тревога — неотступная и изводящая, если дать ей волю. Тревога вождя, отвечавшего за тысячи жизней. Тревога хищника, который обустроивал логово, зная, что рано или поздно сюда придут другие хищники. Более сильные, более голодные, более злые. Или просто более многочисленные.

И он искал спасения от этой тревоги в простом, честном труде. Пытался замедлить время, растянуть эти дни, наполненные стуком топоров, скрипом телег, песнями работавших, местных и пришедших на эти земли с других. Дни, когда не нужно было думать о политике, о великом князе, о тевтонских гончих, рыскавших где-то во тьме. Дни, когда можно было просто жить. Но время не обманешь. Оно текло своим чередом, неумолимо приближая то, что должно было случиться. Как песни литвинов, русских, сету, латгалов и других, пришедших строить дома перед зимой, поверив в то, что новый князь сдержит слово и сможет защитить эти дома и детей в них. Песни, то надрывные, то протяжные, такие разные у представителей соседних народов, но такие одинаковые по сути. Как надежда на то, что князь не обманет веру, не предаст тех, с кем рядом рыл эту землю.

Вечерами, когда работа заканчивалась и над лагерем сгущались ранние осенние сумерки, Доман менялся. Он отмывался в ледяной воде Великой, натягивал чистую рубаху и шёл к кострам. Не к тем малым, что горели у землянок, а к большим, общим, вокруг которых собирались все — и его воины, и люди Тихона, и монахи Иоасафа. Садился на бревно, принимал из чьих-нибудь рук кружку со сбитнем, взваром или пивом и тоже пел.

Голос у него был не то чтобы красивый, а, скорее, глубокий, грудной, с хрипотцой. Но пел Дом так, что мурашки бежали по коже. Старые былины, те, что пела ему в детстве бабушка, те, что он слышал от старых воинов в замке отца. Протяжные, тоскливые песни о древних героях, о битвах с чудовищами и о любви, которая сильнее смерти. Песни, в которых ещё жили Старые Боги. Он пел их на своём родном наречии, и слова знали только те, кто пришли на эту землю первыми, вслед за ним. Но душой понимали остальные, язычники и православные, не делившиеся здесь на разные лагеря, привыкшие и работать, и отдыхать бок о бок. Потому что главным в этих песнях были не слова незнакомого языка. Главным была вечная история о земле, о небе, о тоске по дому, который остался за спиной. О надежде, что здесь, на этой скупой и холодной земле, можно будет построить новый.

Пришедшие с севера люди Тихона слушали, затаив дыхание. Некоторые, самые старые, беззвучно шевелили губами, повторяя забытые, казалось, имена. Монахи, поначалу косившиеся с опаской, вскоре тоже начинали покачивать головами в такт. Потом появились и дудки, и гусли. Иоасаф не препятствовал, сидя чуть поодаль, опершись на посох. И в его глазах, устремлённых на пляшущее пламя, я видел что-то такое, чего не ожидал от православного игумена. Не смирение и благостную всеобъемлющую любовь, а какую-то затаённую грусть. Настоятель тоже тосковал. По тому, наверное, что потерял когда-то, в другой жизни, под другим именем. И в этих песнях находил отголоски своей собственной, давно похороненной, боли.

Ингеборга всегда вечерами была рядом с Доманом. Она не пела, не подпевала. Просто сидела, положив голову ему на плечо, и смотрела в огонь. И в эти моменты лицо её, обычно такое напряжённое, собранное, становилось удивительно умиротворённым, почти счастливым. Она будто тоже пряталась здесь от своего прошлого, от своей миссии, от тяжести серебряного диска Берегини, который теперь всегда носила на груди, под одеждой. Она, Белая Горюха, была счастлива просто быть рядом, греться у этого огня, слушать этот голос.

Но я видел и другое. Видел, как с каждым днём, проведённым не в седле с мечом, а с топором в руке, Доман становился всё мрачнее. Нет, внешне это никак не проявлялось — он так же работал, так же пел, так же шутил с воинами и ласково, по-отечески, трепал по голове чумазных ребятишек. Но внутри него что-то менялось, и я чувствовал это физически, как нарастающее давление где-то в груди. Тревога, которую он пытался глушить трудом, никуда не уходила. Она копилась, спрессовываясь, превращаясь в холодную, тёмную энергию. Энергию, которая требовала выхода.

Всё чаще после ужина он не оставался у общего костра, а шёл в свой теремок. И там, за плотно притворённой дверью, за грубо сбитым столом, загорался ещё один светец. И над столом склонялись три головы: его, Кондрата и Тихона.

Карты в этом времени были редкостью и огромной ценностью. То, что лежало перед ними, и картой-то назвать было трудно. Скорее, грубый набросок на большом куске плохо выделанной телячьей кожи. Извилистые линии рек — Великой, Псковы, Черехи, Желчи. Кружочки и крестики — поселения, погосты, броды. Заштрихованные-зачернённые углём области — леса и болота. Все ориентиры наносились по памяти, его и моей, уточнялось со слов охотников и рыбаков, и точность карты была, мягко говоря, относительной. Но, во-первых, другой не было, а во-вторых, по этим временам и такая была невероятно полезной. И уникальной.

— Вот здесь, — палец Кондрата, похожий на черенок малого копыя-сулицы, уткнулся в точку чуть севернее устья Желчи, — Кобылье городище. Старая крепостица, ещё при Александре Ярославиче ставлена. Сейчас там десятка два ратников, не больше. Святослав, когда уходил, отряды везде урезал. Оголил север.

— До него ливонцам от Нового Городка или от Нейгаузена дня два ходу, — тихо, но внятно добавил Тихон. Его незрячее лицо было обращено к карте так, будто он видел каждую линию. — А зимой, по льду озера, и того быстрее. Снега здесь глубокие, но по льду-то, да с проводниками из местных... Выйдут как раз к Кобыльему. А оттуда до нас — рукой подать.

— Проводники из местных, — глухо повторил Доман. — Это которые?

— Те, кто служит Хотену да Онуфрию, — нехотя ответил воевода. — Из чуди, из сету. Кого серебром купили, кого посулами. Много их. Языки у них разные, а вера, в чужое серебро-то особенно, одна.

— Не у каждого, — покачал головой Тихон. — Сету Старых Богов помнят. Многие из них к нам пришли и ещё придут. А чудины, которые под латгалами да ливонцами ходят... Те Христу-Богу хоть и молятся, а лесных духов своих не позабыли. Но купить и их можно. Вот и покупают.

Повисло тяжёлое молчание. Доман смотрел на карту, и я вместе с ним. Мы оба видели эту картину: зимний поход, стылая морозная ночь. Сотни тяжеловооружённых всадников, что скользят во тьме по льду Чудского озера. Их ведут местные проводники, знающие каждую промоину, каждую тропу. Они выходят к спящему городищу. Вырезают сонный гарнизон-отряд. А потом, не задерживаясь, идут дальше на юг, сюда, к подножию Снятной горе. К нашему ещё не достроенному городу. А отсюда — на Псков. И дальше на Новгород.

"Они не пойдут зимой", — подумал я. — "Слишком опасно. Обозы с припасами встанут в снегах, кони падут от бескормицы. Это же классика: Наполеон, Гитлер...".

"Пойдут", — оборвал меня Доман. — "Зимой нас легче застать врасплох. Мы будем сидеть по тёплым норам и логовам, жевать припасы и ждать весны. А они придут по льду, как уже приходили. Твой Александр Невский их на льду и бил, сам же помнишь. И обозы им не нужны: пойдут налегке, грабя по пути. Захватят Кобылье — там и припасы, и фураж. А дальше — наши деревни. И мы".

Я замолчал. Белый Волк снова был прав. Как и всегда в таких вещах.

— Что с дозорами? — спросил князь.

— Стоят, — ответил Кондрат. — До Кобыльего, до бродов на Желче, до устья Пимжи. Там мои и Тихоновы. Меняем каждые две седмицы, чтоб глаз не привыкал. Но, сам же понимаешь, княже... — он развёл огромными ручищами, — леса здесь глухие, болота великие. Всё перекрыть — никакого войска не хватит. Если они пойдут не главными тропами, а, скажем, через Лосинный остров или по руслу Толбы...

— Там не сунутся, — перебил Тихон. — Той дорогой сейчас не пройти: болота ещё ладом не замёрзли, снегу мало. Конь провалится, человек утонет. Им, псам, твёрдые тропы нужны, те, что веками хожены. Вот здесь, — его палец с обломанным ногтем упёрся в точку на карте,

— брод через Желчу у Старой Сосны. Здесь всегда проходили. И здесь, — ещё одна точка, — у Вороньего Камня, где Пимжа в озеро впадает. Там берег пологий, удобно перейти. Коли крепко следить за этими двумя местами — мимо не проскочат.

— Добро, — кивнул Доман, не обратив внимания на то, что со вторым ориентиром палец слепого старика промахнулся на пару вершков. Как и я на то, что в первый брод дедов ноготь попал безошибочно, с маху. Так не всякий зрячий, наверное, смог бы. — Удвоить дозоры у этих бродов. Кондрат, пошли туда самых глазастых. И собак им дайте, у сету хорошие лайки есть, что за версту чужака чувят. И ещё... Пошли весть в Новгород. Не к Ярославу, к Петру, что главный над Ярославовой стражей. Надо знать, не объявлялись ли где те четверо, что с Ганзейского подворья ушли. И если объявлялись, то где и куда двигались.

Воевода кивнул, поднимаясь. Разговор был окончен, но Доман не спешил вставать из-за стола. Он сидел, глядя на карту, и я чувствовал, как в его голове прокручиваются десятки вариантов: где ставить стены, где копать рвы, где размещать каменёты, которые ещё только предстояло построить. Каждая мысль рождала вопросы. Сколько нужно стрел, копий, припасов? Сколько людей можно выставить в поле, не оголяя город? И главный — когда ждать удара?

"Этого мы не узнаем", — подумал я. — "И никто не узнает. Только ждать и быть готовыми".

"Знаю", — ответил он. — "Потому и не сплю".

Инга видела всё это. Видела, как князь возвращался в терем затемно, пахнувший дымом, своим и чужим потом. Как долго сидел, глядя в огонь очага, и молчал. Как с каждым днём всё глубже становилась складка меж его бровей. Белая Горюха, его Берегиня, ничего не говорила — просто садилась рядом, опускала голову на плечо, брала его большую, натруженную ладонь в свои узкие, прохладные руки. И молчала вместе с ним. И от этого молчания становилось легче и Дому, и мне, и, кажется, ей самой. Ненамного, но легче.

В один из вечеров, когда за окном выл особенно лютый, леденящий и пронизывающий ветер, а в очаге догорали последние угли, она спросила:

— О чём ты думаешь?

Доман долго не отвечал. Потом произнёс глухо, глядя на умиравший огонь:

— Я обещал им защиту. Я обещал им дом. Я обещал тебе... — он осёкся.

— Что? — тихо спросила она.

— Покой, — выдохнул он. — Я обещал тебе покой. А вместо этого... Вместо этого я снова готовлюсь к войне.

Она повернулась к нему, взяла его лицо в свои ладони, заставив посмотреть на неё. В зелёных глазах, в которых плясали последние отблески углей, не было ни страха, ни укора. Даже тени их.

— Ты обещал мне правду, Белый Волк, Доман из Утены. И ты её дал. Ты не обещал мне, что мир вокруг нас вдруг сразу станет добрым и безопасным — так не бывает. Ты обещал, что будешь защищать то, что нам дорого, и ты это делаешь. А я... я горжусь тем, что могу просто быть рядом с тобой. Даже если это значит — снова готовиться к войне.

Князь смотрел на неё, а я чувствовал, как что-то внутри него медленно, со скрипом, отпускает. Как разжимается та невидимая пружина, что давила в груди все эти дни. Он наклонился и поцеловал её. Не страстно, не жадно, как бывало. А бережно и благодарно. Будто причащаясь к чему-то святому. А за окном особенно яростно и зло завыл ветер. Где-то далеко, на севере, за Чудским озером, собирались тучи. Не снеговые, нет. Другие тучи. Те, что несут не снег по небу, а железо и огонь по земле, тем снегом укутанной...

А пока жизнь шла своим чередом. И с каждым днём Тимофеев городок под Снятной горой, как звали его промеж собой жители, всё больше становился похожим на настоящее,

живое поселение. Не на лагерь беглецов, не на временное пристанище, нарытые в спешке норы и шалаши под деревьями, а на место, где люди готовились жить долго. Где уже растили детей и с самого начала думали о будущем.

К первым крепким снегопадам, когда земля наконец замёрзла и укрылась белым, чистым покрывалом, картина разительно переменилась. Вместо казавшегося хаотичным нагромождения ям и куч глины вдоль берега вытянулись ровные ряды добротных землянок. У каждой — свой вход, свой очажный дымок над дерновой крышей, свои пристройки для скотины и инвентаря. Логова были глубокие, тёплые. Внутри, на стенах, обитых жердями и обмазанных глиной, сушились травы, висела немудрёная утварь. На полатах под потолками вялились ягоды, под потолками висели связки грибов, лука, сушёной рыбы. Пахло дымом, сухим мхом и жизнью, что пришла в эти земли, чтобы обосноваться надолго.

Люди Тихона, добравшиеся несколькими партиями, освоились быстро. Охотники-сету, молчаливые и неулыбчивые, днями пропадали в лесу, всегда возвращаясь с добычей. Лоси, кабаны, зайцы, тетерева, глухари — дичи в этих глухих местах пока хватало с избытком. Монахи Иоасафа, поначалу державшиеся наособицу, теперь запросто общались с язычниками. Бывшие непримиримые враги охотились, валили лес, ловили рыбу вместе. Жёны и дети перезнакомились гораздо быстрее, и тоже стали дополнительным аргументом первым обитателям Тимофеева городка быстрее почувствовать себя одной большой семьёй. Все вместе рубили лёд на реке для прорубей, вместе таскали брёвна, вместе отбивались от наглой россомахи, повадившейся таскать вяленую рыбу. Разница в вере как-то сама собой отошла на второй план. На первый вышло то, что было общим: желание выжить, прокормить детей и сохранить тепло в очагах.

Старый Лука, иконописец, оставшийся в Печорах, прислал первые образцы красок. Я, руками Домана, развернул промасленные тряпицы и едва не задохнулся от восторга. Охра была чистейшего, тёплого, золотистого оттенка, какого я прежде не видел ни в одной палитре. Даже на здешних досках цвета были холоднее, мрачнее. Рефть, полученная из местного глауконита, переливалась на свету от глубокого зелёного до почти синего, как перья павлина или зимнее небо над озером, когда Боги по ночам расцветивали его своими огнями. А ярь-медянка, ради которой Тягун со своими парнями соорудили целую печь для обжига по моим рисункам-чертежам, сияла такой звенящей, пронзительной зеленью, что у меня, кажется, защипало в глазах. Это было не просто ремесло, не просто химия с механикой. Это уже вполне можно было считать искусством. Живым, настоящим, родившимся здесь, прямо из этой земли. И я, бестелесный реставратор, вдруг с абсолютной, непоколебимой уверенностью понял: то, что мы делаем здесь, в этой глуши, под боком у врага и в шаге от войны, останется в веках. Эти краски будут сиять на иконах, которые переживут и нас, и наших детей, и многие поколения после. И это наполняло душу странным, почти забытым чувством. Смыслом.

"Вот видишь", — сказал я Доману. — "А ты боялся, что я только и могу, что вздохнуть о потерянном времени. Это и есть моё время. Только началось оно раньше, здесь и сейчас".

"Вижу, Тим", — ответил он. И в его мысленном голосе мне послышалось что-то, похожее на уважение. — "Это твоя работа, твоё призвание. Так, как ты, не сделает ни один на свете, и ещё очень долго".

Я ничего не ответил. Да и не нужно было — воин и художник давно понимали друг друга без лишних слов.

Снег шёл всю ночь. Крупный, пушистый, он валил с низкого, тёмного неба сплошной стеной, укрывая землю, крыши, деревья. К утру всё вокруг было белым и безмолвным. Казалось, сама природа взяла паузу. Или решила дать передышку тем, кто безостановочно рыл, пилил, строгал, стучал, варил, жарил, стирал. Городок притих, как укрытый снегом муравейник.

Доман вышел из терема рано. Вдохнул полной грудью морозный, но не остро-холодный после снегопада воздух. Из труб над землянками тянулись к светлевшему слева небу ровные, прямые столбы дыма — верный признак того, что мороз несильный, но устойчивый. В переледке на склоне Снятной горы какая-то пичуга пробовала голос, робко, неуверенно, будто сама не веря, что зима ещё не вступила в полную силу.

Князь прошёл по улице, центральной из трёх, обозначенных ровными рядами землянок. Возле и позади каждой из которых под снегом угадывались поленницы дров, укрытые лапником. От каждой — тропки, расчищенные до соседней. Люди жили, обустривались, — и в этом порядке чувствовалась не просто воинская привычная дисциплина, а что-то другое. Уважение к себе и к соседям, к своему и соседскому труду.

У крайней землянки, принадлежавшей семье старого Матиаса, одноногого воина, ходившего в походы ещё с отцом Домана, он остановился. Из двери в облаке пара вышла жена Матиаса, высокая старая Аудроне. В руках у неё был горшок с горячим варевом. Увидев князя, она поклонилась. Поднялась с ясной, широкой улыбкой и кивнула, приглашая зайти. Дом отрицательно качнул головой, улыбнувшись в ответ, и пошёл дальше.

"Смотри", — подумал я. — "У них есть всё: кров, еда, тепло. Они не боятся завтрашнего дня. Ты сделал это, дал им то, чего у них не было с тех пор, как вы оставили Утену".

"Я дал им передышку", — поправил Дом. — "Завтрашнего дня пока бояться не надо. Нужно готовиться к тому, что придёт послезавтра. Или через месяц. Или весной, когда сойдёт лёд".

Он был прав, конечно. Но сейчас, в это тихое, снежное утро, когда всё вокруг казалось таким мирным и надёжным, даже он, Белый Волк, позволил себе короткую, едва уловимую им и мной слабость. Надежду на чудо. Безопасность и мир казались такими доступными! Казалось, что можно вот так, сообщая, выгрызть у этой суровой земли право на жизнь, на простую, честную жизнь, без подлости и предательства, без страха и крови. Казалось, что Старые и Новый Боги, заключив негласное перемирие, вместе благословили это место. Что здесь, под Снятной горой, и впрямь может вырасти что-то новое. Город, где всем найдётся место. Но чудеса случаются редко, особенно те, которые не были тщательно подготовлены. И надежда на них — не то, на чём привык основываться и на что опираться в своих мыслях князь-воин.

Первым вестником этого стал гонец, прискакавший из Пскова спустя три дня. Парнишка, весь в снегу, с помороженными щеками, но с огнём в глазах, влетел в терем в сопровождении Лукаса, не дожидаясь, пока князь выйдет, и выпалил, захлёбываясь:

— Беда, беда, княже! Жирный... Онуфрий людей поднимает! Говорит, ты не для защиты город строишь, а напасть хочешь по весне, по-волчьи! Говорит, хочешь Псков под себя взять, а всех, кто во Христа с Богородицей верует — извести! На торгу народ бушует! Кондратия-то Сильча, воеводу нашего, уж который день не видать, не слышать, так думают, ты его порешил! А он-то...

— Что Кондрат? — резко перебил Доман, вставая из-за стола навстречу дрожавшему пареньку.

— У себя в тереме воевода, никуда не выходит, — выдохнул гонец. — Занемог сильно, пластом лежит, ни рукой, ни ногой шевельнуть не может. Вит твой при нём, никого не пускает. А люди говорят — уморил твой колдун Кондратия Сильча!

Доман переглянулся с Ингой, стоявшей у окна. Лицо её было спокойно, но глаза будто потемнели.

— Лук, — бросил Дом, — идём ко Пскову. Полусотней, быстро. Болтов и стрел без накопечников взять, кнуты и верёвки.

Лукас вылетел за дверь, а на его месте тут же оказался Альгирдас, невозмутимый и спокойный, как льдина. Напугав икнувшего гонца.

— Я с тобой, — твёрдо сказала Ингеборга из Висбю. И это не было вопросом. Белая Горюха предупреждала Белого Волка о том, что он, кроме своей стаи, мог рассчитывать и на неё.

Князь кивнул. И, уже накидывая плащ, подумал так, что я услышал:  
"Вот и кончилась передышка. Начинается."

А за стенами терема, над белым, умиротворённым городком, медленно, тяжело закружились, падая, новые снежные хлопья. Как будто само Небо пыталось укрыть, спрятать от беды этот хрупкий, новорождённый мир. Даже не мир, а крохотный его клочок. Но спрятать не получалось. Беда уже была здесь. Она, как и всегда, пришла тогда, когда её меньше всего ждали. Да, к ней здесь готовились. Но каждый знал, что бывает, и всей жизни не хватало на то, чтоб подготовиться к новому испытанию, выдаваемому Богами. Или *не* Богами.

## Глава 6. Отмеченные тьмой

"Своих не бросают". Это было первое, чему научил сына старый князь Роман, когда впервые посадил его на коня и дал в руки резной деревянный меч. "Волк, бросивший стаю, — падаль, а не волк. Запомни, Доман". И он запомнил. Въелось в кровь, в кость, в самую душу, так, что теперь, спустя почти три десятка зим, даже мысли не возникло о том, чтобы оставить Кондрата одного в городе, где тысяцкий и его люди поднимали бунт.

Весть пришла с гонцом, которого прислал сам воевода, едва сумев нацарапать на бересте всего три слова: "Народ мутят. Приходи". Коряво, неразборчиво — рука, видно, плохо слушалась. Псковский медведь, железный Кондрат, никогда не звавший на помощь, просил о ней. И Доман сорвался с места, не дожидаясь утра.

В город вошли не через ворота. Лукас, ушедший вперёд с пятёркой лучших, нашёл тот лаз под берегом, о котором предупредил мальчишка-гонец. Там, с северной стороны, у самой воды, где Пскова подмыла деревянные мостки, частокол над ними прогнил настолько, что его можно было разобрать голыми руками, не поднимая шума. С сырой темноте, пахшей тиной, рыбой и мокрым деревом, стая ждала своего часа, подобравшись под стены города незамеченной. Белые плащи с глубокими капюшонами укрывали всадников и лошадей, превращая их в призраков, в бесформенные пятна на фоне заснеженного берега. Кожаные торбы, набитые овечьей шерстью, глушили перестук копыт так, что даже чуткое ухо не услышало бы шагов полусотни коней. Оставленных до поры на подворье старого кузнеца Ильмара, откуда Белый Волк повёл воинов пешком. Точнее, неслышной рысцой, экономившей силы. Как столько народу умудрилось пройти по глубокому снегу след в след, не подняв не то, что тревоги, но даже и просто лишнего шума, я не представлял. Снег, валивший всю ночь, наконец перестал, и теперь над городом висела тишина. Только где-то в стороне Троицкого собора уныло и редко гулко лязгала дубовая плаха-било, по которой кто-то стучал, созывая горожан. И вряд ли к заутрене.

— Ворота заперты, — прошелестел из темноты Лукас, возникая рядом так же бесшумно, как всегда. — У вечерней степени, помоста того, уже народ собирается. Человек сто, может, больше. Кондратовы люди на площади есть, но мало, десятка два всего. Остальные, похоже, Онуфриевы да Хотеновы. Посадник там же, на помосте. Тысяцкий с боярином орут, как галки по весне.

— О чём?

— О том, что ты, княже, — волк в овечьей шкуре. Что крещение твоё притворное, что с ведьмой из старых живёшь во грехе, а сам спишь и видишь, как бы Псков под литовскую руку подвести. Или под орденскую. В основном, об этом и крик — никак не договорятся, кому именно ты служишь.

Дом молча кивнул. Всё шло примерно так, как мы с ним и предполагали. Онуфрий, загнанный в угол после того, как великий князь выгнал бояр, пришедших срамить "псковского выскочку", решил действовать нагло, в открытую. Поднять чернь, разжечь толпу, ударить в спину, пока чужак занят обустройством своей лёжки под боком у города. Рассчитывал, видно, что Тимофей побоится соваться во Псков, где у него не было своих людей, или просто не успеет. Или не решится на открытое столкновение.

Кругом просчитался, толстый. Как всегда.

— Кондрат где?

— В своём тереме, на Рыбницкой улице. Лежит, говорят, пластом, Вит его пользуется. Онуфриевы туда сунуться пока боятся: там наши, Тихоновы, да и воеводина стража верна ему поголовно. Но если толпа с площади пойдёт на приступ...

— Не пойдёт, — оборвал Доман. — Не успеет. Аль, Наг — за мной. Лук, веди остальных. Площадь занять с трёх сторон, тихо. Без приказа ни стрел, ни мечей не обнажать. Инга, только пугать, не убивать. Пока. Помни, о чём говорили.

Воевода только кивнул, уже привычно и без лишних слов начиная отдавать короткие, скупые распоряжения, и по большей части жестами. Белая Горюха, зелёные глаза которой полыхали колдовским огнём, а губы, ещё совсем недавно красные и сладкие, как лесная малина, превратились в две узких белых полосы, вышла со своим отрядом. Стая знала своё дело. Через несколько минут первые тени в белых плащах уже скользили по узким, кривым улочкам, прочь от берега, к сердцу города. И их никто не видел.

Терем Кондрата стоял чуть в стороне от площади, за рядом купеческих амбаров. Добротный, из толстых сосновых брёвен, с высокой, покатой крышей, с маленькими, забранными дорогой слюдой оконцами, в которых теплился неверный, рыжий свет. У входа, кутаясь в тулупы, топтались двое воинов. Завидев белые фигуры, показавшиеся из предрассветной мглы, стражники схватились было за мечи, но узнали князя и расступились молча, с заметным облегчением.

Внутри пахло болезнью. Тяжёлый, спёртый дух пота, травяных отваров и ещё чего-то неуловимо тревожного, знакомого любому, кто бывал в доме, где долго лежит немощный. Вит, сидевший на лавке у изголовья, поднял на вошедшего князя свои неизменно спокойные, почти равнодушные глаза и чуть качнул головой. Мол, жив, но плох.

Кондрат лежал на широкой лавке, укрытый медвежьей шкурой. Лицо его, обычно багровое, обветренное, теперь было серым, с провалившимися глазами и заострившимися скулами. Дышал он тяжело, с присвистом, и любое движение, даже просто поворот головы, кажется, давалось ему с видимым трудом.

— Княже... — прохрипел он, пытаясь приподняться на локтях. — Успел...

— Лежи, — Дом опустился на корточки рядом с лавкой, положив ладонь на горячее, влажное плечо воеводы. — Не трать силы. Говори.

Кондрат закашлялся, долго, надсадно, сплёвывая в подставленную Витом тряпицу что-то тёмное, с кровавыми прожилками. Отдышавшись, заговорил глухо, с паузами, но твёрдо, как привык.

— Третьего дня... скрутило. Думал, прострел, как тогда. Витовыми мазями растёр, отваров попил — вроде отпустило. А вчера... с утра ещё ничего, к полудню — сызнава, да хуже прежнего. Ноги отнялись, руки как плети висят. Вит, — он скосил глаза на лекаря, — сказал, отрава это. Медленная, хитрая какая-то. Не сразу убивает, а так... по капле, по жилочке отсускивает, силу отнимает. Не уследили.

— Кто? — голос Домана стал тише, но от этого только страшнее. Так волк, подкравшись к добыче, наверное, говорил бы с ней перед последним броском: без злобы, без угрозы, с одним лишь спокойным, неотвратимым любопытством.

— Да ключник мой, Ермил, падла продажная! Вчера, как поняли, кинулись искать — ан нет его, как сквозь землю провалился. А вечером Онуфриевы люди на торгу давай кричать: мол, князь-то ваш, литвин, обманом крещёный, Кондратия Силыча извёл, потому как воевода про измену его дознался и самому великому князю донести хотел! А теперь, дескать, и до остальных черёд дойдёт. Кто за правду стоит — всех под корень. Народ-то тёмный, пуганный... Верит.

— Верит, — согласился Доман. — Потому что боится. А боится потому, что правды не знает. Теперь и узнает. Вит, он до утра доживёт?

Лекарь пожал плечами, не меняя своего вечно скучающего выражения лица.

— До утра должен. А вот до послезавтрашнего — не поручусь. Отрава в крови сидит, я её ни вытянуть, ни ослабить пока не могу никак. Нужно время, княже, и покой, много покоя.

— Всем нам не помешало бы... Будет ему покой, — пообещал Доман, оборвав самого себя. — И время тоже будет. Кондрат, на ноги встать можешь? Хоть ненадолго?

Воевода заскрипел зубами, собираясь с силами. Потом, опираясь на Вита и на собственный меч в ножнах, поданный лекарем, медленно, с видимым мучительным усилием сполз с лавки и, шатаясь, выпрямился во весь свой огромный рост. Бело-серое лицо его исказилось болью, на лбу выступила испарина, но он стоял. Стоял, глядя на князя своими маленькими, глубоко сидевшими глазами, в которых горела яростная, злая решимость.

— Могу, — выдохнул он. — Веди.

На площадь вышли, когда серое, зимнее утро уже окончательно расстелилось над землёй, не только с востока. Толпа перед вечерним помостом гудела, колыхалась, дыша злобой и морозным паром. Сотни три человек, не меньше — ремесленники, мелкие торговцы, всякий чёрный люд, согнанный посулами или угрозами. У многих в руках были топоры, дубины, рога-тины. Не оружие, конечно, но в умелых руках и такое сгодится. Да даже и в неумелых, если их будет много, и ударят они разом. Над толпой, стоя рядом на высоком помосте-степени, возвышались двое: толстый, багроволицый Онуфрий в богатой собольей шубе и высокой шапке, и невысокий коренастый боярин Хотен в дорогом алом корзне. Оба орали, перебивая друг друга, размахивали руками, тыкали пальцами то в сторону собора, то в городские стены, — видно, живописали ужасы грядущего литовского или орденского нашествия. Посадник Твердыта, стоявший там же, пытался что-то сказать, но его не слушали. Его голоса, голоса разума, никто не слышал в этом рёве.

А потом над площадью раздался колокольный звон. Не мерный, благовестный, а тревожный, частый, будто на пожар. Это по знаку посадника ударили в большой колокол Троицкого собора, пытаясь перекрыть им шум толпы, призвать к порядку. Но вышло только хуже: люди, и без того напуганные и взвинченные, закричали ещё громче, замахали руками, начали напирать на жидкую цепочку Кондратовых ратников, пытавшихся сдержать их у подножия помоста. Ещё немного — и начнётся давка. А там недалеко и до резни.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.